

Эмиль Фаге

КУЛЬТ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ



Эмиль Фаге

КУЛЬТ
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ

Перевод В Каспарова

evidentis



Москва **2005**

ББК 83.7 + 63.3(5)
Фар 14

ISBN 5-94610-032-7

© *evidentis*, 2005
© К. Свастьян,
послесловие,
2005

Содержание

Основные принципы политических режимов ...	3
Смешение функций	20
Прибежища компетентности	34
Компетентный законодатель	39
Законы при демократическом строе	51
Некомпетентность правительства	58
Юридическая некомпетентность	61
Некомпетентность в других областях	81
Общественные нравы	105
Профессиональные навыки	110
Испробованные средства	117
Мечта	145
Об авторе	159

1 Основные принципы политических режимов

Извечный вопрос: что является основным принципом того или иного государственного строя при том, что у каждого он должен быть свой? Другими словами, какова кардинальная идея, определяющая данный политический режим?

Монтескьё, к примеру, утверждал, что основной принцип монархии — честь, деспотизма — страх, республики — гражданские добродетели, сиречь патриотизм, и не без основания добавлял, что государство приходит в упадок и гибнет, если его основным принципом злоупотребляют или его предают забвению.

Истинная правда, хотя звучит парадоксально. Вроде бы кажется странным, что деспотизм может пасть, если он внушает излишний страх, монархия — ослабеть из-за преувеличенного чувства чести, а республика — погибнуть из-за избытка гражданских добродетелей, однако так оно и есть.

Если, устрасая, перегибаешь палку, эффект пропадает. Тут уместно вспомнить очень точные слова Эдгара Кине: «Перед тем как нагнетать страх, убедись, что способен это делать постоянно». Слишком много чести не бывает, но, когда, прибегая к одному только этому чувству, умножают число титулов, наград, украшений, галунов, званий — а ведь умножать их до бесконечности нельзя, — настраивают против себя и тех, кому они не достались, и тех, кому достались, но не столько, сколько им хотелось.

Кажется, нельзя обладать избытком гражданских добродетелей, того же патриотизма, режим в этом случае гибнет, скорее, из-за того, что основные принципы предаются забвению. Но разве, требуя слишком большой преданности своей стране, не истощаешь человеческие силы, не злоупотребляешь самыми лучшими человеческими чувствами? Вспомним Наполеона, который, возможно сам того не желая, слишком многого потребовал от соотечественников во имя строительства «великой Франции».

— Но это была не республика!

— Если говорить о жертвах во имя родины, которых требовали от каждого гражданина, то государство было под стать римской республике или французской республике 1792 года. «Всё на благо страны», «Геройство и еще раз геройство». Совершая насилие над гражданскими добродетелями, рискуешь остаться ни с чем.

Ясно, что, злоупотребляя своими принципами, государства гибнут не реже, чем когда они ими пренебрегают. Монтескьё, конечно же, почерпнул свою мысль у Аристотеля, который не без юмора заметил: «Те, кто думает, будто нашел основную идею для государственного устройства, развивая её,

впадают в крайность. Они забывают: если линия носа лишь малую толику отклоняется от прямой (прямой нос самый красивый), орлиный или, допустим, вздернутый нос сохраняют свою привлекательность, но, если она отклоняется сильно, должная мера преступается, может так случиться, что и самого носа не станет». Это сравнение вполне пригодно и для государственного устройства.

Отгалкиваясь от подобных мыслей, я часто задавался вопросом, в чем, собственно, заключается главная идея демократов, к которой они прибегают, правя страной. Мне не стоило большого труда установить, что таковой идеей является культ некомпетентности.

Рассмотрим процветающий торговый дом или промышленное предприятие, на котором царит порядок. Каждый занимается там тем, чему обучен и к чему имеет наибольшие способности: рабочий, бухгалтер, администратор, посыльный находятся каждый на своем месте. Никому не придет в голову послать счетовода куда-нибудь коммивояжером, заменив его на время отсутствия тем же коммивояжером, или бригадиром, или механиком.

Или возьмите животных: чем выше ступень развития, на которой они находятся, тем больше дифференциация функций различных частей их тела, тем больше специализация внутренних органов. Один орган думает, второй совершает действия, третий переваривает пищу, четвертый дышит, и так далее. Есть ли существа, у которых один орган дышит, воспринимает информацию, переваривает пищу? Да, есть: амебы. Но амебы — самые низкоразвитые существа, уступающие даже растениям.

Понятно, что и в гармоничном обществе каждый орган выполняет строго определенную функцию, то есть те, кто обучен управлять, управляют, те, кто обучен законодательствовать, составляют новые законы или исправляют уже существующие, те, кто обучался юриспруденции, заседают в судах. Там не доверят паралитику работу сельского почтальона. Обществу следует брать за образец природу, в природе же у каждого органа свои функции. «Природа, — говорит Аристотель, — не скаредничает подобно ножовщикам в Дельфах, у которых один нож для разных нужд. Она действует с разбором, и наиболее совершенный из её инструментов тот, что годится для одной определенной работы». «В Карфагене, — замечает он также, — считается за честь совмещать несколько должностей. Однако человек может квалифицированно выполнять лишь одно дело. Во избежание нежелательных последствий законодатель не должен позволять одному и тому же человеку тачать башмаки и играть на флейте». Гармоничное общество — это еще и такое общество, где не доверяют ту или иную работу первому попавшемуся, не говорят толпе, не говорят каждому члену общества: «Вы будете управлять, вы будете руководить, вы будете составлять законы и так далее». Такое общество было бы обществом-амебой.

Чем большее разделение труда существует в обществе, чем более специализированны органы, его составляющие, чем с большей строгостью следуют правилу предоставлять работу в зависимости от компетентности работника, тем на более высокой ступени развития оно находится.

Между тем демократии склонны не придерживаться этого, более того, всё как раз наоборот. В Афинах был верховный суд,

члены которого разбирались в законах и неукоснительно применяли их на практике. Чернь не могла с этим смириться, она много лет боролась за то, чтобы заменить сведущих судей на выходцев из своей среды. Рассуждали так: «Раз я устанавливаю законы, мне их и применять». Вывод верен, неверна посылка. Стоило бы возразить: «Да, кто устанавливает законы, тому их применять, но, может, устанавливать законы — не ваше дело?» Так или иначе, чернь взялась применять законы. Ей за это даже платили. В результате весь день в суде заседали самые бедные граждане, те, кто был побогаче, не хотели терять драгоценное время за шесть драхм. Много лет именно плебеи вершили в Афинах суд. Их самое знаменитое решение — смертный приговор Сократу. О нем, вероятно, потом сожалели. Но основной принцип был соблюден: некомпетентность превыше всего.

У современных демократий, судя по всему, тот же принцип. Они по сути своей амёбные образования. Эволюцию нашей хваленной демократии можно описать следующим образом.

Всё началось с идеи: король и народ, демократическая монархия, монархическая демократия. Народ устанавливает законы, король претворяет их в жизнь. Народ законодательствует, король управляет определенным образом, влияя, впрочем, и на законы. Так, он может приостановить действие нового закона, если сочтет, что тот мешает ему править. Специализация при выполнении функций в какой-то мере сохранялась. Законодательствовали и управляли разные субъекты, будь то отдельная личность или некое сообщество.

Но это продлилось недолго. Короля убрали, осталась демократия. Однако компетентных людей пока уважали. Народ, толпа не покушалась еще на право управлять или законода-

тельствовать непосредственно. Народ еще не присвоил себе право назначать законодателей напрямую. Выборы были двухступенчатые: народ называл выборщиков, и только те уже называли законодателей. Таким образом, над народом сохранялись как бы элитные группы — во-первых, выборщики, во-вторых, те, кого избрали. Такая демократия была далека от афинской, когда народ всё решал на Пниксе.

Впрочем, дело тут было не в заботе о компетентности избранных. Выборщики сами толком не знали, кого следует выбрать, — их избранники вовсе не были сведущи в вопросах законодательства. Сохранялась, однако, некая видимость, некая мнимая компетентность, проявлявшаяся дважды. Толпа, вернее, конституция страны предполагала, что законодатели, избранные делегатами от толпы, более сведущи в вопросах законодательства, чем сама толпа.

Подобную, несколько странную, компетентность я бы назвал искусственно приданной. Ничто не указывает мне на то, что данный гражданин хоть как-то разбирается в законодательстве, в юриспруденции, но, облакая его доверием, избирая его, я словно придаю ему должные знания. Или я доверяю тем, кому предоставляю право избрать нужного человека, и те в свою очередь облакают доверием его.

Разумеется, такое придание компетентности лишает её обычного смысла. Однако определенная видимость, и даже чуть больше, чем видимость, сохраняется.

Такая компетентность лишена смысла, так как создается *ex nihilo** — некомпетентность рождает компетентность, ноль

* Из ничто (*лат.*).

рождает единицу. Перенос более или менее легитимен, когда исходит от лиц компетентных, хоть и в этом случае есть свои минусы. Ученому степень бакалавра, лицензиата, звание доктора присуждает университет. Он имеет на это право, так как способен оценить вклад ученого, который, допустим, не получил официальную степень ранее лишь в силу сложившихся обстоятельств. Однако нелепым и даже комичным выглядело бы положение вещей, при котором звание доктора математических наук присваивали люди, не облеченные даже степенью бакалавра. Компетентность, придаваемая людьми некомпетентными, не имеет, очевидно, никакого смысла.

Но видимость — даже чуть более, чем видимость, — сохраняется. Заметьте, что звание, так сказать, доктора литературоведения, доктора-театроведа выдает публика, люди мало сведущие. Скажи им: «Вы ничего не смыслите в литературе, в драматургии», — они ответят: «Да, мы ничего в этом не смыслим, но нас это произведение взволновало, и мы присуждаем степень автору, нас взволновавшему». И они будут в чем-то правы. Так, и званием доктора политических наук народ наделяет тех, кто лучше сумеет его взволновать, кто лучше других выразит его страсти. Следовательно, народными избранниками окажутся наиболее пылкие выразители его страстей.

— Другими словами, наихудшие из всех возможных законодателей!

— В какой-то мере да, но не совсем. Очень полезно бывает, когда на вершине общественной лестницы или, лучше, рядом с ней находятся выразители народных страстей, чтобы показывать, где та грань, которую опасно преступать, и что на самом деле не столько думает, сколько чувствует толпа (ду-

мать-то она как раз не думает), дабы не вызывать сильного противодействия с её стороны и в то же время не слишком ей потакать, дабы, одним словом, знать, с чем имеешь дело и чего можно ожидать. Инженер сказал бы, что следует принимать в расчет сопротивление материала.

Один медиум как-то уверял меня, что беседовал с Людовиком XIV и что тот якобы сказал ему: «Всеобщее избирательное право при монархическом строе — вещь замечательная. Оно предоставляет нам сведения, информирует, указывает на то, чего не следует делать. Если бы при мне оно существовало и если бы я испросил общественное мнение по поводу отмены Нантского эдикта и подавляющее большинство высказалось бы „за“, тогда я бы знал, что мне ни в коем случае не следует его отменять. А отменить его мне посоветовали министры, сведущие, как я полагал, в политике. Но, узнав мнение французского народа, я бы понял, что он по горло сыт войной, что хватит с него строительных работ, хватит расходов. Это уже не человеческие страсти, это страдания. Что же касается страстей, то, прежде чем идти наперекор общественному мнению, надо его узнать, а показатель его — всеобщее избирательное право. И чтобы услышать крик боли, надо его не задушить, и тут тоже показатель — всеобщее избирательное право. Монархии без него не обойтись, оно снабжает нас нужной информацией».

Так, уверял меня медиум, считает теперь Людовик XIV.

Но это значит, что наделять кого-либо компетентностью — нелепость, когда речь идет о законотворчестве; это псевдокомпетентность в том, что касается сведений о положении дел внутри страны. Из чего следовало бы, что она столь же вредна

при республиканском строе, сколь целительна при монархическом. Значит, не так уж она плоха.

Демократическое государство, о котором мы ведем речь, десять лет управлялось выборными представителями, которых избрали другие выборные представители, а затем на пятнадцать лет подчинилось одному-единственному избраннику, что особой радости никому не принесло.

Тридцать лет демократия прибегала к следующему приему. Она предполагала, что выборщики, которым предстоит назвать законодателей, сами должны не избираться, а определяться согласно их социальному статусу, то есть согласно их достатку. У кого больше драм, тот и выборщик.

Компетентны ли эти люди? Не во всем, но кое в чем безусловно.

Прежде всего обладатель состояния больше заинтересован в разумном управлении общественными делами, а заинтересованность открывает глаза, просвещает. Кроме того, если обладатель состояния способен его сохранить, значит, он не совсем дурак.

Всё же его компетентность распространяется на сравнительно узкую сферу деятельности. Если человек богат, из этого еще не следует, что он разбирается в таких сложнейших науках, как юриспруденция и политика. Подобная система зиждется на весьма спорной сентенции: всякий богач знает общество, в котором он живет. Это тоже своеобразная компетентность, но компетентность крайне шаткая и крайне узкая.

Затем структура власти изменилась, и после некоторого переходного периода демократическое государство, о котором идет речь, уже восемнадцатый год управляется, как и прежде-

де, одним-единственным избранником, и, как и прежде, радоваться тут особо нечему.

Так мы пришли к демократическому правлению почти в чистом виде. Почти, потому что демократическое правление в чистом виде — это когда нация руководит сама собой непосредственно, без посредников, путем непрерывного плебисцита. В нашей стране существовал и существует демократический режим почти в чистом виде, то есть нацией управляют строго и исключительно делегаты, избранные непосредственно самим народом. Налицо воцарение почти полной некомпетентности.

Компетентностью наделяют самым произвольным образом. Как тот епископ, который обращался к бедру косули со словами: «Нарекаю тебя карпом», народ заявляет своим избранникам: «Нарекаю вас законооведами, нарекаю вас государственными мужами, нарекаю вас знатоками общественных наук». Мы увидим дальше, что этим дело не ограничивается.

Если бы народ мог судить о знаниях в области психологии и юриспруденции тех, за кого подавал голоса, наделение полномочиями, как я уже говорил, не наносило бы ущерб компетентности и приводило бы к неплохим результатам, но судить об этом народ не может. Впрочем, если бы и мог, лучше бы не стало.

Лучше бы не стало, потому что народ глядит на это дело с других позиций. Всегда. Для него важны не знания человека, а его моральные качества.

— Это уже кое-что, тоже своего рода компетентность: пусть законодатели не в состоянии составлять законы, по крайней мере они порядочные люди. Компетентность в области морали тоже дорогого стоит.

— Но, послушайте, руководство вокзалом, к примеру, доверяют не просто порядочному человеку, а такому порядочному человеку, который отлично умеет управляться с железнодорожным транспортом. При составлении законов одних благих намерений недостаточно, надо понимать толк в юриспруденции, политике, социологии.

И потом, если народ и оценивает избранников с моральной стороны, то по-своему. Он оценивает с точки зрения морали тех, кто разделяет его чувства и выражает их с большим энтузиазмом, — вот кого он считает порядочными. Я не утверждаю, что эти люди непременно непорядочные, просто критерий, который выбран для оценки их порядочности, в данном случае не работа.

— По крайней мере, они бескорыстны, раз у них не какие-то свои, особые страсти, а общие с другими людьми.

— Да, народ именно так и думает. Ему не приходит в голову, что легче легкого прикинуться, будто ты разделяешь чувства народа, чтобы заручиться его доверием и сделать политическую карьеру. Если народ так уж печется о бескорыстии своих избранников, ему самый резон предпочесть тех, кто отстаивает свои взгляды и вовсе не стремится быть избранным. Более того, он должен поддерживать тех, кто не выдвигает своей кандидатуры, — вот уж действительно признак бескорыстия. Народ, однако, никогда так не делает. Он вообще никогда не делает того, что должен.

— Но организации, которые кооптируют своих членов, Академия например, тоже так поступают.

— И они правы, потому что бескорыстие для них не стоит на первом месте. Для них важна научная состоятельность.

Им всё равно, горит человек желанием вступить в их организацию или не горит. Они смотрят на другое. Народ же, опираясь, казалось бы, на моральные критерии, должен был бы не допускать к власти тех, кто её домогается, по крайней мере тех, кто делает это в открытую.

Отсюда ясно, что толпа понимает под нравственными качествами. Для нее претендент обладает ими, если живет, или делает вид, что живет, одними чувствами с ней. Поэтому избранные хороши как источник информации, источник сведений о самом народе и дурны или в лучшем случае бесполезны как законодатели.

Монтескьё ошибался редко, тем не менее, на мой взгляд, он был не прав, когда заявил: «Народ прекрасно умеет выбирать должностных лиц». Просто Монтескьё не жил при демократическом режиме. Как народ может прекрасно выбирать должностных лиц, и в частности законодателей, если сам Монтескьё утверждал — на этот раз вполне справедливо, — что нравы должны улучшать условия жизни, а законы, в свою очередь, — улучшать нравы. Ведь народ старается избирать лишь тех, кто наиболее точно отражает его чувства. На сложившиеся обстоятельства народ реагирует нормально, хотя не вполне адекватно. Но если он хочет, чтобы законы исправляли нравы, ему следует назначать законодателей, которые выступали бы против его собственных нравов, а такого в принципе не может быть — народ всегда поступает с точностью до наоборот.

Следовательно, делая свой выбор, народ прежде всего инстинктивно предпочитает людей, интеллектуально и нравственно некомпетентных.

Положение еще больше усугубляется, если народу это выгодно. Он предпочитает людей некомпетентных не только потому, что не способен судить о компетентности интеллектуальной, а о компетентности моральной имеет весьма превратные представления, но и потому, что больше всего любит — и это естественно — тех избранников, которые походят на него самого. И любит по двум причинам.

Прежде всего, мы уже говорили, народ хочет, чтобы его избранники разделяли его чувства, его страсти. Строго говоря, они могут испытывать те же чувства и страсти и в то же время отличаться от толпы в том, что касается нравов, привычек, манер, внешнего вида и так далее. Правда, народ более всего уверен в том, что человек не притворяется, разделяя его чувства и страсти, если он подобен ему во всем. Это своего рода знак, своего рода ручательство. Поэтому народ бессознательно стремится выбирать тех, кто подобен ему и по обычаям, и по манерам, и по воспитанию, а если допускает чуть большую образованность — именно чуть, — то лишь затем, чтобы те могли держать речь с трибуны.

Есть и другая, не такая сентиментальная, но крайне важная причина, ибо она затрагивает самую основу, самую суть демократического сознания. Чего жаждет народ, который укусила демократическая муха? Прежде всего он жаждет всеобщего равенства, а значит, того, чтобы всякое неравенство, как искусственное, так и естественное, исчезло. Народ отвергает искусственные отличия — знатное происхождение, королевские милости, наследное богатство, и потому он за уничтожение аристократии, королевской власти, института наследства. Народ не одобряет также естественное неравенство, порицая

тех, кто умнее, деятельнее, храбрее, искуснее других. Уничтожить такое неравенство он не в состоянии, ведь оно в порядке вещей, но он может нейтрализовать этих людей, поразить немощью, не подпуская к выборным должностям. Получается, что народ неизбежно отодвигает в сторону людей компетентных, причем именно вследствие их компетентности или потому, что они не такие, как все. В свое оправдание он бы сказал, что они, будучи отличными от других, могут выступать противниками всеобщего равенства. Объяснения разные, а суть одна. Потому-то Аристотель и сказал в свое время, что там, где презируют достоинства, там демократия. Цитата, правда, не совсем точная, на самом деле он пишет: «Там, где не ценят достоинства в первую очередь, невозможно твердое аристократическое правление». Вот и выходит, что пренебрежение достоинствами порождает и длит демократический режим.

Компетентность проигрывает и с этой точки зрения.

Прежде всего демократия, и это естественно, хочет всё делать сама, она — враг любой специализации и жаждет править самостоятельно, без выборных, без посредников. Идеальным для нее является прямое правление, как было в Афинах, демократия по Руссо, который и употреблял это слово лишь для обозначения прямого народного правления.

Вынужденная историческими обстоятельствами и в какой-то мере необходимостью править через своих представителей, что она должна сделать, чтобы править напрямую или почти напрямую, хотя бы через представителей?

Надо, чтобы депутаты действовали исключительно по наказам избирателей, тогда они становятся не более чем рупором народа, приходя в законодательную власть излагать

народную волю, и получается, что народ правит уже непосредственно. В этом-то и суть наказа избирателей.

Демократия очень часто об этом помышляла, но никогда особо на этом не настаивала, проявляла здравый смысл: подозревала, что наказы избирателей используются лишь для прикрытия. Народные представители объединяются, дискутируют — вырисовываются партийные интересы. И с этого момента они уже во власти богини Благоприятного момента, по-гречески *κάρως*. Им поручено голосовать так-то, и вот в один прекрасный день оказывается, что, поступив согласно воле избирателей, они нанесут урон своей партии. Им поистине приходится изменять из верности и предавать в силу своей преданности. Они могут послушаться своих избирателей из самых добрых и похвальных побуждений, что сделает им честь и послужит во славу. Перед избирателями они сумеют всегда обелить себя, и тем нечем будет их попрекнуть.

Наказы избирателей, следовательно, очень грубый инструмент для решения столь деликатных проблем. Инстинктивно хорошо это понимая, демократы, как правило, не настаивают на такой процедуре.

Что же остается? Остается нечто более осязаемое, добыча в руках вместо расплывчатой тени: выбирать людей во всем себе подобных, разделяющих те же чувства, воплощающих народ до такой степени, что они наверняка и почти автоматически сделают то же самое, что сделал бы народ, окажись он сам огромным законодательным органом. Голосовать эти люди будут, разумеется, с оглядкой на обстоятельства, но так, как если бы демократия голосовала сама. Тогда демократия как бы заменит законодательную власть, станет штамповать законы.

Более того, это единственный для нее путь прорваться в законодатели.

Поэтому демократия крайне заинтересована избрать тех, кто представлял бы её, кто был бы частью её самой, лишенной личности, фортуны, независимости.

Нередко выражают сожаление, что демократия вынуждена отдавать себя на откуп политикам. Однако, если принять во внимание цели, которые она преследует (было бы странно, если бы она их не преследовала), демократия поступает абсолютно правильно. Ведь кто такой политик? Человек с заемными мыслями, посредственный, как предписание, разделяющий чувства и страсти толпы, наконец, тот, которому нечего делать, кроме как заниматься политикой, и который, не сложись у него политическая карьера, умер бы с голоду.

Это как раз то, что нужно демократии.

Излишняя образованность не отяготит его собственными взглядами, а значит, его взгляды не вступят в противоречие с его пристрастиями, которые сначала сами по себе, а затем под воздействием личных интересов будут такие же, как у толпы. Наконец, из-за безденежья, неспособности заняться чем-либо другим он будет поступать строго в рамках своих полномочий. Определять его действия станет материальная необходимость, которой он себя целиком подчинил, пустой кошелек.

Демократии требуются политики, и никто больше, никакие другие люди её не удовлетворят — только политики.

Врагом демократии или по крайней мере объектом недоверия с её стороны будет человек, которому удалось выдвигаться благодаря своему состоянию, таланту или известности,

потому что в таком случае он станет править не от лица демократии, а от своего собственного. Он будет независим. Предположим, что законодательный орган полностью или в большинстве своем составят люди богатые, люди, высокоразвитые в интеллектуальном отношении, и те, кому сподручнее заниматься делом, в котором они преуспели, а не политикой. Все они будут голосовать и законодательствовать в соответствии со своими соображениями, и что же тогда получится? Демократия упразднится. Ведь не она станет законодательствовать, не она — править, а самая что ни на есть элита, своего рода аристократия — пусть и несколько размытая, — и эта аристократия сведет на нет влияние народа на жизнь общества.

Очевидно, что демократии, *если она хочет сохранить себя*, самый резон не ориентироваться на компетентных людей, не допускать их во власть.

Народ, таким образом, выдвигает тех, кто наилучшим образом представляет его самого и во всем от него зависит.

2

Смещение функций

Что же в результате происходит? А происходит совершенно логичная и даже справедливая с точки зрения демократии вещь, именно: демократия стремится и не может не стремиться, чтобы народные представители делали то, что желает народ, и то, что бы он делал, правь он непосредственно. *Демократия хочет всё делать сама*, как и народ хотел бы всё делать сам, властвовать напрямую, как на афинском Пниксе.

Монтескьё полностью отдавал себе в этом отчет, разве что он не предвидел, как это осуществляется на практике, когда у власти находятся народные представители, при парламентской форме правления. Однако по существу разницы нет никакой, надо только иметь в виду следующее: «Демократические принципы извращаются не только когда нарушается дух равенства, но и *когда этот дух подминает под себя всё остальное и каждый хочет быть равным тем, кого он избрал себе*

в руководители. При этом народ не терпит над собой власть, которую сам учредил, хочет всё решать самостоятельно, заседать вместо сената, претворять законы в жизнь вместо должностных лиц и заменять собой судей. Народ покушается на функции чиновников, и последних уже не уважают. Заседания сената лишаются своего значения, на сенаторов больше не смотрят...»

Итак, при парламентском, демократическом правлении народ хочет править без посредников. Он желает быть равным тем, кого выбрал, ему не по душе терпеть над собой власть даже тех, кого он сам наделил властными полномочиями. Он желает распоряжаться вместо правительства, исполнять закон вместо представителей исполнительной власти, быть выше судей, заменять собой должностных лиц, он не желает никого и ничего уважать и почитать.

Дух народа, стремящегося творить свою волю, побуждает к действию демократический режим, верный и послушный народу.

В результате компетентных людей отовсюду изгоняют и удаляют. Подобно тому как народ не подпускает их к власти, его избранники целенаправленно и последовательно лишают специалистов возможности исполнять какие бы то ни было общественные функции.

Народные представители, к примеру, обязаны контролировать правительство, давать ему рекомендации, но, так как оно должно быть независимо, депутаты не могут подменять его собой, иначе говоря — править. Они назначают правительство, и это верно, но, «не желая терпеть власть, которую они сами наделили полномочиями», они пытаются подмять его

под себя. Законодательный орган, вместо того чтобы составлять законы, постоянными запросами изо дня в день *диктует* правительству, как ему следует поступать, то есть попросту правит.

Практически страной руководит палата депутатов. Так и должно быть, если народ желает властвовать сам, на чем, собственно, и строится демократический режим. *Так и должно быть*, чтобы никакая другая воля не могла проявить себя, кроме воли народа, которая находит выражение в соответствующих актах исполнительной власти. В этом суть режима. Так должно быть, чтобы *никому и ничему*, даже исходящему от народа, не было позволено ни на какое время, ни даже на мгновение приобрести большую, чем у народа, власть, пусть даже в строго ограниченной области.

Однако умение править — это искусство, которое предполагает необходимые знания, а при данных условиях у власти находятся люди, таковым умением и искусством не обладающие, более того, выбранные как раз потому, что они ими не обладают и гарантировано, что обладать никогда не будут.

И если при демократии такого рода существует либо по традиции, либо по внешним причинам некая властная структура, в течение скольких-то лет независимая от законодательного органа, не обязанная перед ним отчитываться, орган, который не терпит вмешательства в свои действия и который не может быть ликвидирован конституционным путем, такая властная структура представляет собой столь странную, если не сказать чудовищную, аномалию, что она не отваживается проявлять себя из боязни нарваться на скандал, как бы парализованная своим же страхом.

И её можно понять, ведь отважась она проявить себя или просто сделай вид, что правит, это было бы выражением личной, а не народной воли, что противоречило бы духу режима. При таком строе глава государства может быть только номинальным. Личная воля привела бы его к злоупотреблению властью, собственные взгляды стали бы посягательством на уют, а собственное слово — преступлением против общества.

Даже если конституция формально предоставила ему соответствующие полномочия, это всё равно лишь мертвая буква, иначе нарушался бы неписанный высший закон, сам дух политического устройства.

Один из таких глав государства *ad honores** сказал как-то: «Весь срок своего президентства я промолчал в строгом соответствии с конституцией». По видимости, он был не прав, конституция вполне позволяла ему высказываться и даже действовать, но прав по существу — предоставление конституцией такого права носит неконституционный характер. Заговорив, он поступил бы конституционно, промолчав, он действовал *институционально*. Он и предпочел хранить молчание *институционально*. Он вступил в противоречие с буквой конституции, но прекрасно разобрался в сути дела, приняв его дух.

При демократии, следовательно, народ через своих представителей осуществляет, насколько это возможно, прямое и реальное руководство страной, диктуя свою волю исполнительной власти, нейтрализуя главу этой власти, которому диктовать свою волю он не в состоянии.

* Здесь: ради почета, безвозмездно (*лат.*).

Однако народу недостаточно общего руководства, ему хочется управлять всем процессом. Ведь если бы управляющие в области финансов, юстиции, охраны общественного порядка зависели лишь от своих министров, зависимых в свою очередь от законодательной власти, которая часто этих министров низлагает и сменяет, администраторы, чье положение было бы более стабильным, чем у их начальников, составили бы особую касту. Они бы правили государством без учета народной воли, в соответствии со своими принципами, правилами, традициями, идеями.

Но это недопустимо. Недопустимо, чтобы существовала иная воля, отличная от воли народа, иная власть — пусть даже в самой узкой области, — отличная от его власти.

Возникает примечательное противоречие — противоположные следствия одной причины. Так как законодательный орган руководит министрами, он часто их снимает; так как он часто их снимает, они, по существу, не управляют своими подчиненными (пример Кольбера и Лувуа), и те сохраняют определенную независимость. В результате законодательный орган, упрочивая свою власть над министрами, перестает управлять администраторами и, разрушая одну конкурирующую власть, создает другую такую же.

Однако это противоречие довольно легко разрешается. Народ не допускает, чтобы какой-либо администратор был выбран без его, народа, одобрения. Более того, он сам старается их назначать. Из места своего пребывания, из дворца, где он осуществляет свои диктаторские функции, законодательный орган внимательно наблюдает за назначением администраторов. Кроме того, каждый член законодательного органа

контролирует назначения в своей провинции, в своем департаменте, в своем округе, у него свои кандидаты, их он и продвигает. Делается это для того, чтобы волю народа выполняли лишь те руководители, которых он сам выбирает из своей среды, чтобы «народ назначал должностных лиц», как выразался Монтескьё.

Он и назначает их через своих представителей. Судите сами, могут ли при этом они не быть плоть от плоти и кровь от крови народа. Так что всё сходится к одному.

Вот и получается, что народ кардинально влияет на выбор должностных лиц. Он по-прежнему «делает всё сам». Постоянно слышатся жалобы на привнесение политики в дела управления, вообще во всё вокруг, на то, что «политика во всё вмешивается», что она везде. Но почему так происходит? Потому что в этом заключается принцип верховной власти народа. Политика, политическая сила как раз выражает волю большинства нации. Этой воле надобно выразить себя, вот она и стремится сделать это, назначая должностных лиц, управляя всем и вся. Идеал демократии — это когда народ избирает всех тех, кто им руководит. Если не идеал, то по крайней мере её основополагающая идея. Народ через своих представителей претворяет в жизнь эту идею при нашей пока еще парламентской демократии.

Всё, казалось бы, замечательно, вот только компетентность снова оказывается в загоне. Ведь чем может понравиться народу в лице его избранников кандидат на административную должность? Своими профессиональными качествами? Но оценить их могут лишь его начальники и коллеги, народ или его представители — судьи тут никомудышные.

По словам Монтескьё, «народ прекрасно умеет выбирать тех, кому он намеревается передать часть своих полномочий». Самое время порассуждать на эту тему. Что имеет в виду философ? «Народ определяет это лишь по признакам, ему известным, которые, так сказать, бросаются в глаза. Так, он знает, что такой-то человек много воевал, что он добился на войне успехов, значит, он достоин быть генералом. Народ знает, что такой-то судья ревностно исполняет свои функции и многие выходили из зала суда довольные им, в коррупции его тоже не уличали, — этого достаточно, чтобы избрать его претором. Народ поражен щедростью и богатствами такого-то гражданина, — этого достаточно, чтобы он выбрал его членом городского муниципалитета. О всех этих фактах народ на площади узнает лучше, чем монарх у себя во дворце».

Это высказывание не кажется мне удачным. Как монарх в своем дворце может не знать о богатстве денежного туза, незапятнанной репутации судьи, победах военачальника, о чем знает народ на площадях? О таких вещах узнать нетрудно. Народ знает, что такой-то был хорошим судьей, а такой-то блестящим офицером. Следовательно, он может назначить их претором и генералом. Допустим, но кто просветит народ, когда надо выбрать молодого судью или офицера, только начинающего свою карьеру? Я, признаться, не очень понимаю. Рассуждая подобным образом, Монтескьё сам ограничивает возможность народа сделать правильный выбор, ведь назначить тот может лишь известную личность и лишь на очень высокую должность, в конечном итоге имея дело с людьми на закате их карьеры. На чем же народ может основываться в своем выборе, где черпать информацию при выдвижении тех, кто только

начинает трудовой путь? Монтескьё считает народ способным оценить лишь подтвержденную компетентность, но не ту, которая только начинает себя проявлять. Доводы Монтескьё малоубедительны.

Результат этот — следствие антитезы (в логическом смысле слова). Монтескьё хотел доказать здесь не столько истинность своего утверждения, сколько ложность другого. Вопрос, который он держал в уме, следующий: способен ли народ управлять государством, предвидеть, рассматривать и разрешать проблемы внутренней и внешней политики? Нет. Способен ли он правильно выбирать должностных лиц? Пожалуй. Антитеза так увлекла Монтескьё, что он договорился до того, что, хоть способности управлять у народа нет, способностью назначать должностных лиц тот наделен в высшей степени. В заключение приводится вывод: «О всех этих фактах народ на площадях узнает лучше, чем монарх в своем дворце. Но может ли он управлять ситуацией, находить место, время, удобный случай для вынесения наилучшего решения? Нет, не может».

На самом деле способность народа избирать должностных лиц ненамного выше, чем его способность последовательно уменьшать влияние австрийского правящего дома. Именно ненамного. Уменьшить могущество австрийского правящего дома и найти человека, который сумеет этого добиться, почти одинаково непросто.

И уже совсем не способен народ выдвинуть достойного человека, еще не обремененного лаврами. Но при демократическом режиме он как раз на это претендует.

Чем кандидат на высокий пост может понравиться народу или его представителям? Своими достоинствами, которые

те оценить не в состоянии? Конечно, нет. Чем же тогда? Сходством своих мнений с мнениями народа, то есть своими политическими взглядами. Политические взгляды кандидата на высокий пост — лишь на них опирается народ в своем решении, потому что это единственное, о чем он может составить здоровое суждение.

— Но взгляды, сходные с взглядами народа, могут сочетаться с высокими профессиональными качествами.

— Разумеется. Однако это дело случая. При этом, по крайней мере, народ не выступает против компетентности, просто она ему безразлична или даже чужда. Компетентность тут не дает никакого преимущества.

Неминуемое следствие: кандидат на высокий пост, не чувствующий за собой никаких достоинств, без труда понимает, что достигнет цели, лишь имитируя необходимые политические взгляды, что он и делает. Но довольно часто и обладающий достоинствами кандидат, прекрасно зная, как это делает недостойный кандидат, и не желая поражения, также обзаводится нужными взглядами. Это и есть «солидарность во зле», о которой так хорошо говорит Ренувье в своей «Науке морали». В результате большинство народных избранников ни на что не годны, а немногие достойные люди, составляющие исключение, — люди слабохарактерные. Между тем сильный характер — неотъемлемая часть компетентности почти на любом поприще.

Остается малое число достойных людей, не выставяющих напоказ нужные взгляды и получивших административную должность по недосмотру со стороны политиков. Эти чужаки стечением обстоятельств порой продвигаются достаточно дале-

ко в своей карьере, не достигая, впрочем, самых высоких постов, которые, естественно, сохраняются для тех, кто пользуется доверием народа.

Вот и правит народ через своих представителей и точно так же через своих представителей диктует министрам, что те должны делать.

— Но я не вижу, чтобы народ правил, он лишь выбирает должностных лиц.

— Прежде всего, это уже чересчур много, что он их выбирает. Так внедряют дух народа в органы управления, так препятствуют проникновению туда какого-либо иного духа и не дают образоваться своего рода управленческой аристократии, к чему управленцы сами стремятся. Кроме того, народ вовсе не ограничивается тем, что через своих представителей назначает чиновников. Он пристально следит за ними, наблюдает, не спускает с них глаз, держит на привязи, и, подобно тому как народные представители диктуют министрам, как распоряжаться властью, они указывают чиновникам, как управлять.

При демократическом режиме положение префекта, главного прокурора, главного инженера чрезвычайно противоречивое. Он действует в связке с министром и местными депутатами. Он должен подчиняться и ему, и им. Случаются любопытные вещи, возникают очень щекотливые ситуации. Так как префект подчиняется и депутатам, и министру, а тот, в свою очередь, — депутатам, создается видимость единоначалия. Министр, а через него префект подчиняются некоей всеобщей воле, однако префект находится еще во власти частной воли каждого отдельного местного депутата. Происходит столкновение интересов, крайне интересное с психологической точ-

ки зрения. Однако для префекта, главного инженера, главного прокурора подобное положение дел малопривлекательно.

Заметьте, как всё содействует тому, чтобы народный представитель оказался столь же некомпетентен, сколь всемогущ. Мы уже говорили, что он некомпетентен изначально, но *даже если сперва это было не так*, он станет некомпетентен по роду своей деятельности, по многообразию функций, которые ему придется выполнять. Лучший способ сделать человека ни к чему не пригодным — заставить его заниматься всем сразу. Исполнитель воли народа, проводник его духа кроме законодательной деятельности занят еще и тем, что запрашивает министров, диктует им, как они должны управлять, другими словами, он занят выработкой внешней и внутренней политики. Он выбирает и контролирует должностных лиц, надзирает за ними, определяет их действия. Не говоря уже о мелких частных услугах своим непосредственным выборщикам, которые по праву и без зазрения совести требуют их выполнения, он готов сделать всё, что скажут. Этаким Фигаро. Человек-оркестр, вечно занятый и ни на что не годный. Он не может ничему толком научиться, не может ничего продумать, ни во что вникнуть, по существу, он ничего не умеет.

Даже если в начале карьеры он в чем-то разбирался, через несколько лет работы он уже абсолютно ни в чем не компетентен. Лишившись своей индивидуальности, он превратился в публичного человека, то есть в человека, претворяющего в жизнь волю народа и ни о чем другом, кроме как о её торжестве, думать неспособного.

И вот еще что. Представьте себе слугу народа, достаточно сведущего в финансовой или юридической области, чтобы

из нескольких кандидатов предпочесть не того, у которого лучше политические убеждения, а того, кто обладает большими заслугами, большим знанием или призванием, и одобрить действия, связанные не с сиюминутной политической конъюнктурой, а с долгосрочными государственными интересами. Такого слугу народа демократы тут же возненавидят.

Я хорошо знал одного такого. Рассудительный, умный, прямой человек. Защитник прав третьего сословия. Он, естественно, втянулся в политику. По причинам сугубо частным ему не удалось стать ни депутатом, ни сенатором. Преодолев упорное сопротивление, он, благодаря влиянию друзей-политиков, сумел получить судейскую мантию. В качестве председателя суда он вел процесс, где обвиняемый, личность мало-симпатичная, тем не менее прямо не подпадал ни под одну статью закона. Однако этого обвиняемого, бывшего префекта, представлявшего прежнюю, ненавидимую всеми власть, известного реакционера и аристократа, терпеть не могла демократическая общественность как в Париже, так и в провинции. Под ропот недовольства председатель суда начисто оправдал обвиняемого. Потом он сказал не без юмора: «Вот не избрали меня сенатором. Впредь будет им урок!» Другими словами: «Превратив меня в политика, они лишили бы меня компетентности, сделали бы игрушкой в своих руках. Не захотели. Теперь я просто знаток законов, которые я применяю на практике. Тем хуже для них!»

«Превращая человека в раба, Зевс отбирает у него половину души», — говорил Гомер. Превращая человека в политика, демос полностью лишает его души. Если же он оставляет человеку душу, то совершает ошибку.

Вот почему демос терпеть не может, когда какая-нибудь должность является пожизненной. Конституция выводит должностное лицо, чиновника, выполняющего свои функции пожизненно, из-под надзора народа. Такое должностное лицо, такой чиновник всё равно что вольноотпущенник, а вольноотпущенников народ не переносит.

Поэтому если в стране, где он правит, есть пожизненные должности, демос время от времени их отменяет. Прежде всего, чтобы «очистить» чиновников от их функций, но особенно для того, чтобы все остальные уразумели: пожизненная должность — вещь относительная и они должны считаться с волей народа, который может обернуться против них, вздумай они слишком далеко зайти в своей независимости.

По конституции 1873 года во Франции имелись пожизненные сенаторы. Для пользы дела это, наверно, было довольно предусмотрительной мерой. С точки зрения авторов конституции, несменяемые сенаторы должны быть (и были на самом деле) ветеранами политики и управления. Они должны были делиться знаниями, умственным багажом, опытом с коллегами. Было бы даже хорошо, если бы таких сенаторов выбирали не коллеги, чтобы ими становились по закону, к примеру, бывший президент республики, бывший председатель кассационного суда, бывший председатель апелляционного суда, адмирал, архиепископ и так далее. Однако демократы не могут допустить, чтобы народный представитель был неподотчетен народу, чтобы он не боялся, вдруг его не переизберут, чтобы поставленный за свою так называемую компетентность на высокую должность человек представлял вовсе не народ, а самого себя.

Пожизненных сенаторов отменили. Иначе они явно заделались бы политической аристократией, сославшись на свои заслуги, да и сам сенат, их выбравший, подпал бы под подозрение в аристократизме, ведь именно он придавал аристократическую окраску процессу избрания, пополняя свои ряды путем кооптации. Смириться с этим демократы не могли.

3 Прибежища компетентности

Могут ли где-нибудь найти приют люди сведущие, удаленные с государственных должностей? Да, подрядясь на работу в частном секторе или в различных обществах и ассоциациях. Труд адвоката, стряпчего, врача, промышленника, коммерсанта, писателя государством не оплачивается. Труд инженера, механика, железнодорожного служащего государством не оплачивается. Для всех них компетентность является не препятствием, а единственным подспорьем в работе. Политические взгляды адвоката не интересуют стороны в судебном процессе, политические взгляды врача не интересуют больных, стремящихся излечиться. Очевидно также, что железнодорожная компания, приглашая на работу инженера, не обращает внимания на то, соответствуют ли его взгляды умонастроению народа, компанию интересуют лишь его знания и деловые качества.

Поэтому — или частично поэтому — демократия желает прибрать к рукам все служебные должности и в конечном счете вообще всё. Прибрать к рукам всех специалистов. Так она поступает с врачом, создавая должность врача богадельни, школы, лицея и так далее. Она и труд адвоката присваивает себе, превратив его в профессора права на службе государства.

Демократия держит всех этих людей в узде уже тем, что у многих из них родственники ходят в чиновниках, и, чтобы не навредить этим последним, они не должны противопоставлять свое мнение мнению большинства граждан. Однако демократия хочет большего, хочет привязать их к себе, создавая условия, благоприятные для того, чтобы призвать их на службу государству и обществу.

Наконец, демократия стремится ликвидировать крупные ассоциации и присвоить результаты их деятельности. Приобрести, например, железные дороги большой компании — приобрести, естественно, для эксплуатации, надеясь на получение государством прибыли, — но еще и разогнать персонал компании, тех служащих, которые не старались угодить государству, правительству, большинству граждан, тех функционеров, которые заботились лишь о том, чтобы должным образом выполнять свою работу. Цель демократов — заменить персонал компании (даже если останутся те же люди) персоналом из государственных служащих, послушных и благонамеренных.

В крайнем и наиболее осуществленном случае этого режима, то есть при социалистическом режиме, не останется, по существу, больше никого, кроме функционеров.

— И следовательно, — утверждают теоретики-социалисты, — всех тех мнимых недостатков, о которых вы говорите,

удастся избежать. Государство, демократия, господствующая партия, как вам угодно её называть, уже не будут предпочитать, как они это, по вашим словам, делают сейчас, самых послушливых и некомпетентных функционеров, потому что функционерами станут все граждане. И таким образом исчезнет двойственность в социальной жизни общества, когда одна часть населения находится на службе государства, а другая живет сама по себе и кичится своим превосходством, возникшим по причинам, о которых вы упомянули, — превосходством в способностях, уме, *компетентности*. Тем самым проблема будет решена.

— Сомневаюсь, что проблема будет решена, ведь при социалистическом режиме выборы сохраняются, значит, сохраняются и политические партии. Граждане избирают законодателей, те — правительство, правительство — работодателей и распределителей благ. Сохраняются партии — сохраняются групповые интересы, и каждая партия пытается привлечь на свою сторону законодателей и правительство, а следом и работодателей и распределителей благ, аристократов данного режима, чтобы те предоставляли её членам лучшую работу и самое щедрое вознаграждение.

Уничтожены крупные состояния, отменены остатки свободы, и больше ничего не изменилось, все отрицательные стороны, которые я перечислял, как были, так и остались. Решение по-прежнему не найдено.

Если мы хотим его найти, надо, чтобы правители при социалистическом режиме не избирались, надо, чтобы они были правителями милостью Божьей, как иезуиты в Парагвае. Надо, чтобы правление было деспотичным не только по своему образу действий, но и по своему происхождению. Нужна монар-

хия. У умного монарха нет никакого резона назначать некомпетентных работников, он заинтересован как раз в обратном. Мне возразят, что умный монарх — явление редкое и даже противоестественное. Право, я знаю это не хуже других. Кроме разве исключительных случаев, о которых с изумлением повествуют историки, у королей те же причины, что у народа, обзаводиться фаворитами, которые не будут их затмевать, не будут им противоречить. Следовательно, это будут не лучшие из граждан — ни по уму, ни по другим своим качествам. Выходит, что у социалистического режима, независимо от того, избирается правитель или он наделен диктаторскими полномочиями, те же недостатки, что и у известной нам демократии.

По сути, сползание, если можно так выразиться, демократии к социализму не что иное, как движение вспять — к деспотизму. Вначале социалистическое правление всегда сопряжено с избирательным правом, а значит, обязательно и с возникновением партий. Именно господствующая партия назначает законодателей, а те — правительство, от которого эта партия требует и получает привилегии. Налицо эксплуатация страны большинством, как, впрочем, при любой выборной системе.

Однако социалистическое правление — это прежде всего олигархия работодателей и распределителей благ, олигархия очень жесткая, попирающая незащитные существа, единые в нужде, равные в бедности. Олигархия, которую трудно заменить, потому что крайне сложные вопросы управления препятствуют каким-либо резким движениям. Такая несменяемая олигархия очень быстро сплывается вокруг своего вождя и удаляет или отодвигает на задний план народных представителей и их избирателей.

Что-то подобное было во времена первой империи во Франции. Тогда над всеми господствовала, главенствовала, всех затмевала, всех сокрушала на своем пути каста воинов, общество испытывало в ней постоянную нужду, которую та без конца поддерживала. Каста воинов спланировалась вокруг своего лидера, придававшего ей единство и монолитность.

При социалистическом правлении — на этот раз более медленно, в течение жизни одного поколения — работодатели и распределители благ, янычары мирного времени, тоже образуют особую сплоченную, тесно спаянную касту, без которой нельзя обойтись, в то время как без законодателей при наличии Государственного Совета можно. Она также выдвигает своего лидера, который придает ей единство и монолитность.

Когда еще не знали о социализме, было принято считать, что демократия тяготеет к деспотизму. Теперь, по видимости, дело изменилось, и создается впечатление, что она тяготеет к социализму. Однако суть осталась прежней: тяготея к социализму, она тяготеет всё к тому же деспотизму, но неосознанно, ибо ей кажется, что она стремится к равенству. Эгалитарное государство по определению порождает деспотию.

Забежав вперед, мы слегка отклонились от темы. Вернемся к ходу нашего рассуждения.

4 Компетентный законодатель

Демократия наших дней, следовательно, попирает, подчиняет себе, поглощает исполнительную власть, административную власть, всё кругом вообще через своих представителей — законодателей, которых она выбирает по своему образу и подобию, другими словами, через людей некомпетентных, влекомых страстями, потому что, как говорил, возможно несколько противореча самому себе, Монтескьё: «Народ всегда движим страстями».

Какими же качествами должен обладать законодатель? На мой взгляд, прямо противоположными тем, какими обладают законодатели при демократическом режиме. В идеале он должен быть хорошо информирован и совершенно бесстрастен. Хорошо информирован не только по книгам — законодатель должен хорошо разбираться в юриспруденции, чтобы не получалось, как сплошь и рядом бывает, противоположное тому,

что он собирался сделать. Он должен понимать нравы и дух народа, для которого он, собственно, и составляет законы. Надо принимать такие законы, которые народ в состоянии соблюдать, которым он в состоянии подчиниться. Солон некогда превосходно сказал: «Я дал им самые лучшие законы из тех, которые они только могут вытерпеть». Достойны также внимания слова Бога иудеев: «Заповеди мои не добры», то есть добры настолько, насколько в состоянии вытерпеть ваша злоба. «И это упраздняет все трудности, — говорит Монтескьё, — которые проистекают из Моисеевых законов».

Законодатель, стало быть, должен знать нравы и дух народа, коль скоро он составляет законы. Он должен, как говорят немцы, разбираться в его психологии. И заметьте, он должен изучить нравы, характер и дух своего народа, не обладая сам этими нравами, характером и духом, так как разделять чьи-либо страсти и склонности — вовсе не значит знать их досконально, как раз наоборот: постигнуть их можно только со стороны.

В идеале или хотя бы для того, чтобы успешно выполнять свои функции, законодателю следует иметь общие представления о склонностях народа, уметь их преодолевать и брать под свой контроль, так как его задача состоит в том, чтобы частично удовлетворять эти желания, частично же бороться с ними.

Частично удовлетворять их или, по меньшей мере, учитывать, потому что закон, который действовал бы наперекор нравам народа, стал бы, так сказать, конем Роланда, у него имелись бы все нужные качества, за исключением одного — он был бы мертвым или даже мертворожденным. Дайте римля-

нам закон, устанавливающий равные права для всех жителей империи, закон, предписывающий уважать покоренные народы, и этот закон никогда бы не исполнялся, более того, неуважение к нему распространилось бы и на другие законы. Дайте французам либеральный закон, закон, предписывающий соблюдать личные права человека и гражданина, при том, что свобода для француза — это, по словам барона Жоанеса, «право делать всё, что заблагорассудится вам, и мешать другим делать то, что заблагорассудится им», то этот закон будет исполняться весьма условно, из-под палки. Более того, французы постепенно привыкнут игнорировать и другие законы.

Итак, законодатель должен изучить склонности своего народа, чтобы знать черту, на которой ему следовало бы остановиться и противостоять им.

Но он, как сказано, должен и *частично бороться с ними*, так как закон для государства должен быть тем же, чем для отдельного человека является закон нравственный, иначе это будет лишь полицейское предписание. Такой закон означает длительное принуждение с целью исцеления, он налагает путы на губительные страсти, пресекает вредные поползновения и опасные причуды, нейтрализует эгоистические побуждения. Точнее сказать, он становится разумным «я», сдерживающим «я» страстное. Именно это подразумевает Монтескьё, когда замечает, что нравы должны исправлять условия человеческого существования, а законы — исправлять нравы.

Следовательно, закон должен в какой-то степени противиться устремлениям народа, он должен стать правилом, которое народ почитает благим и оттого немного любит, почитает суровым и оттого немного боится, почитает в определенной

мере враждебным себе и оттого немного ненавидит, почитает необходимым и оттого уважает.

Именно такой закон законодателю следует разработать, а значит, он обязан хорошо знать душу народа, для которого он трудится, понимать ту часть души, что станет сопротивляться, и ту, что примет его нововведения, понимать, что не приведет к ропоту, а чем он рискует вызвать неповиновение.

Вот главное, в чем он должен разбираться.

Кроме того, ему надо быть бесстрастным. «Сдержанность», добродетель, столь ценяемая Цицероном, — вещь чрезвычайно редкая, если говорить о сдержанности в полном смысле слова, подразумевая под этим *равновесие души и духа*. Тем не менее это основополагающее качество законодателя. «Думаю, я и написал данную работу, — говорит Монтескьё, — потому что хотел доказать: законодателю нужно проявлять сдержанность, качество, заключающее в себе благо с политической и моральной точки зрения».

Нет ничего труднее для человека, чем противостоять страстям, и нет, следовательно, ничего труднее для законодателя, чем противостоять страстям народа, если, конечно, забыть на время о его, законодателя, собственных страстях. «Аристотель, — пишет Монтескьё, — хотел совладать то с завистью к Платону, то со страстной любовью к Александру. Платон возмущался тираническим характером афинских граждан. Макиавелли сотворил себе кумира в лице герцога Валентино. Томас Мор, основываясь, скорее, на прочитанном, нежели на своих собственных мыслях, призывал править государством со всей простотой, будто это греческий город. У Харингтона всегда перед глазами была английская республика, а многие другие писатели прозре-

вали хаос везде, где не было королевской власти. На пути к справедливому закону всегда стоят страсти и предрассудки законодателя — либо его личные, либо те, что он разделяет со всем народом. Иногда закон пробивает себе дорогу, но страсти и предрассудки накладывают на него свой отпечаток, иногда же он полностью становится их отражением».

А как раз этого не должно быть. Надо, чтобы законодатель играл в обществе ту же роль, какую в человеке играет совесть, знал людские страсти, всю их глубину, всю их значимость, не давал обмануть себя их притягательностью, притворством, сменой обличья, то борясь с ними напрямую, то противясь им по очереди, то содействуя слегка одной из них в ущерб другой, более страшной, то отступая на время, то переходя в контратаку, — всегда искусный, находчивый, сдержанный, никогда не дающий враждебным страстям нанести ему урон, запугать, отвлечь, обмануть, направить его не по той дороге.

Ему придется даже быть, так сказать, совестливее, чем сама совесть, он не должен забывать, что разрабатывает закон не только для других, но и для себя, что он должен будет подчиняться своим же решениям, — *semel jussit semper paruit**. Ему надо быть в буквальном смысле слова беспристрастным, что для него гораздо сложнее, чем для совестливого, — перед человеческой совестью такая проблема не стоит.

Законодателю следует не просто не испытывать страстей, ему следует от них отречься, а это еще труднее. Страстью для него, если можно так выразиться, должно сделаться следо-

* Однажды повелел, всегда подчинялся (*лат.*).

вание совести. Как говорил Руссо: «Для выработки наилучших общественных установлений, приемлемых для народа, нужен высший разум, который видит все человеческие страсти, но сам не испытывает ни одной, который никак не связан с человеческим естеством, но знает всю его подноготную, чье счастье не зависит от нашего, но и нашим он не погнушался заняться. Такой разум с течением времени созидает себе будущую славу, трудясь в одном столетии и пожиная плоды в другом».

Изобретательные греки нашли хитроумное решение: установив законы для своего народа и заставив сограждан поклясться соблюдать их до своего возвращения, некоторые законодатели отправлялись в добровольную ссылку, скрыв место своего уединения. Не исключено, что они хотели связать сограждан клятвой, не связывая себя своими законами. Может, они разрабатывали такие суровые законы, заранее задумав избавить себя от необходимости им подчиниться?

Прудон говорил: «Я мечтаю о республике столь либеральной, что меня самого казнили бы там как реакционера». Возможно, Ликург и был неким Прудоном: основав республику с законами столь строгими, что сам не в силах был там жить, он твердо решил покинуть страну, как только эти законы вступят в силу. Солон и Сулла остались в государстве, законы для которого установили. Тем самым они превзошли Ликурга. Оправданием для последнего, правда, может послужить то, что, судя по всему, он лицо вымышленное.

Предполагалось, будто законодателю следует быть настолько выше страстей, как своих, так и своего народа, что как простому человеку его собственные законы должны в той или иной степени внушать страх.

Сдержанность в том смысле, который мы придаем этому слову, иногда внушает законодателю мысль вводить новый закон осторожно, а не с ходу принуждать к его исполнению — такое возможно довольно часто, хотя и не всегда. Монтескьё ссылается на короля Людовика Святого: «Он решил внушить подданным отвращение к злоупотреблениям современного ему судопроизводства и издал несколько распоряжений для судов как в своих владениях, так и во владениях баронов. Его ждал большой успех. Прошло немного времени после его смерти, а введенных им правил уже придерживались при многих дворах местных феодалов. Так государь добился цели, хотя его распоряжения не требовали обязательного исполнения, а лишь служили примером, которому каждый был заинтересован следовать. Он упразднил зло, показав наилучший путь его преодоления. Когда люди увидели, что королевские суды, суды некоторых сеньоров принимают решения более естественные, более разумные, лучше согласующиеся с моралью, религией, способствующие миру в обществе, безопасности человека и сохранению его добра, они согласились с нововведениями и отринули прежние обычаи. *Умение правителя заключается в том, что он не принуждает, а приглашает к исполнению, не командует, а ведет.*»

Рассуждая не без некоторой доли оптимизма, Монтескьё приходит к обнадеживающему выводу: «Разум обладает естественной властью, ему сопротивляются, но сопротивление как раз и обеспечивает его конечную победу. Еще немного, и люди будут вынуждены вернуться под его начало».

Это пример из далекого от нас времени, и едва ли он применим для наших дней. Впрочем, рассмотрим закон о вос-

кресном отдыхе, восстановленный на основании церковного права. Принятие этого закона было ошибкой, так как он противоречил многим обычаям французов и даже в какой-то мере французскому складу ума. В результате получили то, что получили: закон исполняется редко и с большой натугой. А ведь можно было это не вносить в кодекс. Пусть государство предоставит право на воскресный отдых всем своим чиновникам, служащим, рабочим. Достаточно было бы простого циркуляра министра юстиции, который освобождал бы от наказания человека, не выполнившего трудовой контракт из-за отказа работать в воскресенье. Тогда закон о еженедельном отдыхе существовал бы неофициально, его придерживались бы по взаимной договоренности и его действие не распространялось бы на те случаи, когда необходимость работать в воскресенье была бы настолько очевидна как для работника, так и для хозяина, что оба подчинились бы ей добровольно. В таком виде закон был бы в состоянии без особых потрясений изменить вековые обычаи народа.

Рассмотрим также случай, когда нормы закона, включенного в кодекс, носят разрешительный или рекомендательный характер. Законодатель начала XIX века не видел ничего зазорного, если муж, застававший жену с любовником, убивал её, а заодно и его. Вопрос спорный, однако такова была позиция законодателя. Можно ли было счесть подобное предписание обязательным для исполнения? Нет. Неявная рекомендация, позволение читались как бы между строк. Закон гласил: «В случае если виновные попадают с поличным, убийство извинительно». Не то чтобы я одобряю сам текст, просто я считаю возможным, чтобы закон указывал, но не налагал пути,

указывал на правильные с его точки зрения поступки, но не принуждал к действию. Всё зависит от конкретного случая, и бывает, что такие формулировки являются, на мой взгляд, оптимальными.

Наконец, одно из основных качеств законодателя — осторожность при изменении соответствующих законов. Именно осторожность требует от него бесстрастия или по крайней мере контроля над своими страстями. Закон чтят, только если он древний. Впрочем, могут быть два случая: или закон основан на давнем обычае, тогда его чтят со времени его возникновения, потому что он освящен древностью самого обычая, или закон действует наперекор обычаю, тогда нужно длительное время, которое превратит сам закон в обычай.

В обоих случаях закон заставляет себя уважать именно в силу своей древности. Закон как дерево: сначала это нежный росток, потом образуется кора, потом она затвердевает, корни углубляются в землю, вгрызаются в скальную породу.

Нужна, следовательно, крайняя осмотрительность, если решаешь заменить старый кряжистый дуб на молодое деревце. «Большинство законодателей, — говорит Узбек, обращаясь к Реди, — были люди ограниченные, поставленные над другими лишь волей случая, и прислушивались они лишь к своим предрассудкам и фантазиям. Они часто без необходимости отменяли законы, прочно укоренившиеся в обществе, и тем самым ввергали народы в хаос — прямое следствие любых нововведений. Иногда возникает своеобразная ситуация — причина тут, скорее, в природе вещей, а не в человеческом волеизъявлении, — когда некоторые законы необходимо поменять. Но это редкий случай, и тогда к законам следует прикасаться с душев-

ным трепетом. Следует сохранять торжественность, прибегать к многим предосторожностям, чтобы народ естественно заключил: законы — вещь сакральная, раз надо соблюсти столько формальностей при их отмене». Монтескьё здесь по своему обыкновению идет по стопам Аристотеля, тот писал: «Ясно, что приходит время, когда некоторые законы нужно поменять. Но менять надо крайне осмотрительно, иначе польза всё равно будет невелика: *опасно, если народ решит, что сегодня закон может быть один, а завтра другой*. Пусть лучше останутся ошибки прежнего законодательства, прежних должностных лиц. Толку от изменения законов будет мало, а опасность оттого, что народ привыкнет не подчиняться должностным лицам (полагая закон, который те представляют, эфемерным, непостоянным, подверженным перекройке), очень большая».

Знание законов ведущих государств мира, знание — и глубокое — темперамента, характера, чувств, страстей, склонностей, мнений, предрассудков и обычаев своего народа, умение сдерживать ум и чувства, бесстрастность, бескорыстие, хладнокровие, спокойствие духа — таковы качества идеального законодателя, мало того, таковы качества, без которых, собственно, нельзя разработать ни один хороший закон, так что впору говорить не об идеальных, а о самых насущных качествах законодателя.

Но, как мы видели, это почти полностью противоречит всему тому, что демократический режим ценит в законодателе, да и требует от него. Он почти всегда выдвигает людей несведущих, невежд — и я уже говорил почему, — выдвигает людей вдвойне некомпетентных, тех, у кого страсти преобладают над знаниями, если таковые изначально существовали.

Факт примечательный. Демократия выбирает своих представителей за их страстность, а не вопреки ей, то есть выбирает за то, за что должна бы закрывать доступ к высшим должностям. Если человек сдержанный, разумно мыслящий, четко разделяющий реальное и возможное, реалистичный, практического склада ума захочет избираться, чтобы поставить свои добродетели на службу обществу, ему следует тщательно их скрывать и навязчиво выставлять напоказ прямо противоположные качества. Так, чтобы претендовать на пост, где он смог бы защищать и обеспечивать мир, он должен призывать к гражданской войне, то есть потенциальному миротворцу нужно натянуть на себя воинственную маску.

Все народные любимцы проходят через две эти стадии, достигают вторую через первую. «Не лучше ли с самого начала высказывать консервативные взгляды?» — Ничуть. Стать влиятельным консерватором и выявить весь свой потенциал консерватора можно, лишь побывав сперва в шкуре анархиста.

Забавно видеть, как народ привык к подобным зигзагам. Впрочем, есть тут определенное неудобство: прошлое мятежника постоянно ставит под сомнение, оспаривает теперешний авторитет консерватора, и изрядную часть жизни консерватору приходится объяснять, почему он переметнулся в другой лагерь, а это тяжело и обременительно.

Так что народ всегда избирает натуры страстные или притворяющиеся таковыми, и тут два варианта: либо люди, подверженные страстям — а их среди законодателей подавляющее большинство — возьмут верх, либо победят люди умеренные, но плохо подготовленные для своей новой роли. Страстные, коих, как я сказал, намного больше, с остервенением набрасываются

на законотворческую деятельность, вместо того чтобы поступать хладнокровно, осмотрительно и расчетливо. Все вышеупомянутые правила отменяются прочь. Получается, что законы вовсе не подавляют и не обуздывают людские страсти. Наоборот, законы являются их прямым выражением. Они как бы следствие тех мер, которые одни партии принимают против других. Выдвинуть закон — всё равно что вызвать противника на бой, утвердить — значит одержать победу. Такие установления лишь выставляют законодателей в неприглядном виде и служат в осуждение самому режиму.

5

Законы при демократическом строе

Доказательство сказанному — то, что все законы обусловлены привходящими обстоятельствами, а этого не должно быть. Вопреки Монтескьё люди вовсе не опасаются чуть что менять старые законы на новые и сносить дом, чтобы поставить палатку. Новые законы плодятся как грибы, каждый день, в зависимости от погоды и политической конъюнктуры. Демосфен рассказывал об одном чужеземном воине, всегда защищавшем уже пораженное место: ударят его в плечо — он подносит щит к плечу, ударят в бедро — закрывает щитом бедро. Так и партия власти разрабатывает законы, чтобы защититься от реального или воображаемого соперника, и решается на реформы, торопливые, неподготовленные, после разразившегося скандала, действительного или мнимого.

Как только за человека, домогающегося власти, как говорили в Афинах, проголосуют в слишком многих округах, тут

же появляется закон, запрещающий выставляться в нескольких местах. Изменились условия — и по той же причине, боясь того же человека, государство быстро проводит закон, заменяющий баллотировку кандидатов списком на окружную систему голосования.

Если с какой-то подсудимой во время следствия обошлись грубо, если председатель суда слишком наседавал на нее во время допроса, если прокурор выдвинул плохо мотивированное обвинение, тут же затевается радикальная реформа всего судопроизводства.

И так во всем. Законотворчество поставлено на поток. Это как бы магазин мод. Или газета. Законы «штампуют» едва ли не каждый день. Запросы следуют один за другим, заводят полемiku, министров по несколько раз в сутки «допрашивают», выясняя какие-то малозначащие факты, которые у всех на слуху. История, роман с продолжением. Накануне что-то произошло, а сегодня, глядишь, уже появляется закон по этому поводу. Статья в подвале газеты — и сразу столкновение мнений, разброд умов. Такое положение дел прекрасно отражает ситуацию в стране, дает её верный сколок. То, что утром занимает людей, вечером обсуждается на всех перекрестках; это увеличительное зеркало страны болтунов. А между тем законодательный орган не должен быть зеркалом страны, он должен быть её душой, мозгом. Однако по причинам, уже разобранным нами, представители народа представляют лишь его страсти, и ничего больше. Жизнь при демократическом режиме наших дней управляется не законами, а декретами. Ведь сиюминутные законы и не законы вовсе. Закон — это древнейшее установление, освященное временем, и люди ему подчиняют-

ся, не отдавая себе отчета в том, подчиняются они закону или старому обычаю. Такой закон — часть единой системы предписаний, продуманной, четкой, логичной и стройной. Закон, вызванный обстоятельствами, не более чем декрет. Лучше всего это понимал Аристотель, и он неоднократно обращал внимание на основополагающее, фундаментальное различие между декретом и законом, различие, незнание или игнорирование которого крайне опасно. Прочитую наиболее показательный, наиболее выразительный отрывок на этот счет: «Есть, наконец, пятый тип демократии, *когда властвует не закон, а толпа*. Это случается, *когда от закона верховенство переходит к декрету* и наступает время демагогов. Когда при демократическом правлении царствует *закон*, демагогам нет места — первенствуют люди достойные. Но как только *закон* утрачивает авторитет, набегают свора демагогов. Народ как бы превращается в стоголового монарха. Правят не личности, которых народ наделил властью, народ правит всем скопом. Такой народ стремится, по сути, к единоличной власти. Он сбрасывает с себя иго *закона* и становится деспотичным правителем. В чести оказываются льстецы. Такой режим соотносится с демократическим, как тирания с монархией. То же притеснение людей добропорядочных — при монархии через произвол указов, при демократии через произвол *декретов*. Демагоги — те же льстецы, одни обхаживают тиранов, другие — народ, заступивший на место тирана. Из-за демагогов верховная власть выражает себя *через декреты, а не через законы*, они стремятся всё передать народу, в результате именно демагоги обретают могущество, потому что народ — хозяин всего, а они хозяева народа... Можно со всем основанием

заключить, что *это демократия, но не республика*, так как *нет республики там, где власть не принадлежит закону*. На самом деле надо, чтобы закон распространялся решительно на все области жизни. Значит, если демократию считать одной из форм правления, режим, при котором всё решают *декреты, не является собственно демократическим*, ведь декрет не универсален».

Различие между вековым законом и законом, вызванным случайными обстоятельствами, между законом — частью единого свода и декретом, между законом, созданным навсегда, и законом сиюминутным, тираническим по существу — это различие, если хорошенько разобраться, отражает разницу между античным обществом и обществом современным. Когда в древние времена говорили о законе, то подразумевали совсем не то, что сейчас, отсюда множество недоразумений. В наши дни закон есть выражение народной воли в определенный исторический период, например в 1910 году. В древности же выражение народной воли в такой-то период, например в год второй 73-й Олимпиады, соответствовало, скорее, декрету, а не закону. Закон — это один из пунктов свода законов Солона, Ликурга или Харонда. Всякий раз, когда в политической жизни Греции или Рима заходила речь о государстве, управляемом законами, надо было понимать буквально следующее: государство живет по законам, существующим неизменно спокон веков. Это придает истинный смысл знаменитому прославлению законов в «Федоне», которое выглядело бы странным, понимая греки под законами то, что мы подразумеваем под этим словом сегодня. Закон есть выражение воли народа? Но почему тогда надо было уважать закон Сократу, который презирал

народ и всю жизнь, даже на самом судебном процессе насмеялся над ним? Это было бы нелепо. Однако законы — это не декреты, которые народ сочинил при жизни Сократа, законы хранили город со времени его зарождения, они суть древние божества.

Они могут привести к ошибке, и Сократа приговорят к смерти, но они уважаемы, почитаемы и нерушимы, они хранили город века и века, хранили самого Сократа до того, как ими злоупотребили ему во вред.

Следовательно, «республика», если принять терминологию Аристотеля, — это когда народ подчиняется законам, причем законам, созданным предками. Но тогда это аристократическая форма правления, так как подчиняются не просто тем, кто представляет собой традиции предков, то есть людям благородного происхождения, но *самим предкам*, подчиняются идеям, которые те вложили в свод законов, коим уже пять веков. Это еще аристократичнее, чем когда подчиняются аристократам. Аристократы всегда наполовину принадлежат традиции, наполовину — своему времени. А закону четыреста лет, и этим всё сказано. Подчиняться закону, с точки зрения древних, — это подчиняться не Сципиону, которого я могу встретить на улице, а прадеду его пращура. Ультрааристократизм! Самый настоящий! *Закон аристократичен*, декрет, *принятый по случаю*, демократичен. Поэтому Монтескьё всегда говорит о монархии, сдерживаемой, обуздываемой, но и подпираемой законами. Что бы это могло значить для его времени, когда воля народа никак себя не выражала и когда монархия, следовательно, не сдерживалась выражавшими эту волю законами, когда законодательная власть сосредотачивалась в руках ко-

роля и сдерживающее начало вообще отсутствовало, так как монархия составляла законы сама и имела право их отменять и переделывать? Так что бы это значило? А то, что под «законом» Монтескьё, по примеру античных авторов, подразумевал старые законы, составленные прежде появления на свет современного ему режима, законы монархий древнего мира (Монтескьё называет их фундаментальными), которые ограничивают, должны ограничивать современную ему монархию, без чего эта последняя непременно выродилась бы в деспотизм или демократию. Закон по природе аристократичен. Благодаря ему правители управляют подданными, а ими самими управляют их уже почившие предки. Сущность аристократического строя как раз в том, что управляют ныне живущими те, кто жил раньше и предвидел проблемы, с которыми столкнутся их потомки. Собственно аристократия — это аристократия по плоти, *закон* аристократичен по духу. Аристократия, по сути, представляет древних, их традиции, наследство, наставления, передающийся из поколения в поколение опыт древних, она также преемница их физиологических особенностей, темперамента, характера. Закон не представляет мертвых, он их воплощает, являет собой их запечатленную на бумаге мысль, которая осталась неизменной, а если изменилась, то незначительным образом.

Аристократический строй и аристократический дух сохраняет государство, в котором аристократы составляют верхний эшелон власти, обновляемый осторожно, осмотрительно и бережно. Еще более аристократичным является государство, которое почтительно сберегает старое законодательство, подновляя его осторожно, осмотрительно и бережно, так что в но-

вых законах дух современности сочетается с духом древности. *Nomines novi, novae res**. *Nomo novus* означает человека без роду без племени, такого человека для его же пользы следует соединить с людьми, сохранившими связь с предками. *Novae res* означает то, что не имело прецедента, и еще революцию. *Novae res* нужно вводить частями, незаметно, постепенно, сохраняя приоритет старины, так же как и «людей новых» вводить в общество людей старого закала. Аристократия аристократична, но закон еще более аристократичен. Вот почему демократия — естественный враг законов и мирится только с декретами.

Народное представительство отдано на откуп людям некомпетентным, подверженным страстям, которые некомпетентность еще более усугубляют. Народные представители, берущиеся за всё и всё делающие из рук вон плохо, плохо руководящие, плохо управляющие, прилагающие к делам управления свою некомпетентность и свои страсти, — вот к чему мы пришли при рассмотрении современного демократического режима.

* Новые люди, новизна (*лат.*).

6

Некомпетентность правительства

Но это не всё. Закон некомпетентности распространяется дальше, то ли следуя логике событий, то ли заражая всё вокруг. Со смехом говорится — а любая трагическая вещь, воспринятая с юмором, приобретает комические черты, — что министерский пост редко доверяют человеку сведущему, что министром народного образования становится адвокат, министром торговли — писатель, министром обороны — врач, министром военно-морского флота — журналист. Высказывание Бомарше: «Нужен был расчетчик; на эту должность назначили плясуна» — больше подходит для демократии, чем для абсолютной монархии.

Это стало настолько нормой, что вызывает обратный эффект, искажая исторические реалии в глазах толпы. Трое французов из четырех полагают, что Карно был «гражданским лицом», и это не раз было напечатано черным по белому. А почему? Да потому, что нельзя себе вообразить, чтобы при де-

мократическом режиме министром обороны мог быть военный, что члены Конвента решились доверить министерство обороны офицеру. Это не лезло бы ни в какие ворота.

Странная практика предоставления министерских постов людям некомпетентным на первый взгляд кажется простой игрой, утонченным духовным кокетством богини Некомпетентности. В какой-то степени так оно и есть. Но только в какой-то степени. При предоставлении министерских постов власть частично передается какой-либо группе, на которую хотят опереться. Далеко не всегда в такой группе есть нужный специалист, поэтому знания претендента на министерский пост в расчет не принимаются и на первый план выходят не профессиональные, а политические предпочтения. И получается то, о чем я говорил. Единственный министерский пост, предоставляемый более или менее с толком, — пост, который премьер-министр приберегает для себя. Нередко, однако, премьер уступает его, чтобы заполучить в правительство важного политического деятеля, а сам занимает такой пост, где он не является специалистом.

Как следствие, каждым министерством руководит несведущий министр. Если министр добросовестный, он старается набрать необходимые знания в данной области, если не очень добросовестный или сильно занятый — а занят он всегда, — он руководит министерством, исходя не из практических, а из общеполитических соображений. Налицо двойная, так сказать, некомпетентность.

Надо послушать речь, с какой новый министр сельского хозяйства обращается к своему персоналу при вступлении в должность — всё сплошь про принципы 1789 года.

А между тем при централизованном правлении всё в своей области решает именно министр. Он выполняет всю работу, принимает все решения, пусть и под давлением народных представителей. Нетрудно вообразить себе, какие это могут быть решения. Часто они настолько не соответствуют и даже противоречат закону, что изначально недействительны. Министерские циркуляры, как ни странно, нередко носят противозаконный характер. Потом, естественно, от них отказываются, но они успевают внести сумятицу в систему управления.

Что же до назначений, которые, как я уже отмечал, делаются на основе политических предпочтений, тут ничего не поделаешь. Даже если министр, сведущий в делах и людях, видит неправомерность и ошибочность таких решений, он никогда не возмутится: «Это уж чересчур!»

7

Юридическая некомпетентность

Логическое следствие некомпетентности — расширение сферы её приложения. Она как бы перекидывается на другие области. Возможно, вы замечали, что при королевском строе во Франции, при всех его несовершенствах, к компетентным людям по традиции относились с определенным пиететом. Что касается судов, к примеру, то существовали суды местные, суды церковные, суды военные. Разумеется, к этому пришли не путем глубоких размышлений. Сама история, сами события диктовали подобную необходимость. Даже монархия, склонная к нарушению прав своих подданных и деспотизму, на эти суды не покушалась.

Местное судопроизводство, наименее обоснованное с рациональной точки зрения, всё же приносило пользу, привязывая, хотя бы потенциально, сеньора к своей земле и не давая сеньору и его вассалам забыть друг о друге. Таким образом,

эти суды служили хранителями аристократических законоположений в королевстве. Добавлю, что, будучи упорядочены, строго установлены и собраны в единый свод — чего, впрочем, так и не было сделано, — местные законы способствовали бы росту компетентности, ведь есть дела сугубо локальные, в которых местный сеньор разбирался лучше кого бы то ни было, в этих делах выступал как бы мировым судьей. Следовало лишь строго определить, какие дела подпадают под юрисдикцию таких судов, и во всех случаях предусмотреть право на апелляцию.

Церковные суды вводились совершенно обоснованно, так как правонарушения, совершаемые духовными лицами, носят слишком специфический характер и в них способны разобраться лишь судьи-священнослужители. Современному мышлению это может показаться странным, но ведь есть же в наше время, к примеру, торговые суды и советы для разрешения трудовых споров, потому что тяжбы между коммерсантами, спорные вопросы между рабочими, между рабочими и хозяевами могут разрешить со знанием дела только их коллеги. При этом всегда сохраняется возможность обжаловать принятое решение в суде высшей инстанции.

Наконец, по тем же причинам при монархии функционировали военные трибуналы, военные советы.

При демократии все такие суды вызывают стойкое недоверие: они противоречат единообразию — карикатурному воплощению равенства — и служат областью приложения и пристанищем компетентности.

Вместе с аристократами демократия упразднила и суды, где те заседали, а вместе с церковью как частью государства —

и суды церковные. Более того, она склонна рассматривать оставшиеся чрезвычайные суды как орудие аристократии. Демократический режим преследует своей ненавистью военные советы, потому что у тех свои, особые суждения относительно воинских прегрешений, воинского долга, воинской чести. Но эти вопросы компетентно разрешаются лишь военными советами, которые совершенно необходимы для поддержания воинского духа и для сохранения сильной армии. Судить и наказывать солдата или офицера как гражданское лицо — значит не принимать во внимание стоящие перед армией специфические задачи и обязанности, которые она должна выполнять. Речь тут идет о проблемах профессиональной и моральной компетентности, в которые демократия не желает вникать из убеждения, что никакие особые знания не нужны и во всем достаточно одного здравого смысла. Однако здравый смысл, как и воинский дух, всегда необходим, но сам по себе недостаточен. Такие вещи демократия не хочет понимать и не желает принять.

Столь же ошибочна её позиция касательно гражданского и уголовного судопроизводства. Демократия сочла нужным покуситься на самый принцип гражданского судопроизводства, предоставив право судить юристам. Вряд ли кто станет оспаривать компетентность подобного органа. Судят специалисты своего дела. Но я уже не раз говорил: наряду с компетентностью профессиональной существует и моральная. Демократический строй попытался принизить моральную компетентность, а принизив её, что важно, свести на нет и компетентность профессиональную.

В прежние времена гражданский суд был государственным органом, автономным и, следовательно, — кроме случаев

государственных переворотов, которых он поэтому опасался, — абсолютно независимым. Это делало его компетентным с моральной точки зрения, а вернее, сохраняло за ним данное качество. Моральная компетентность заключается в возможности действовать согласно велениям своей совести.

Потом создали гражданский суд — административное учреждение, состоящее, как и любое другое, из чиновников. Государство этих чиновников назначает, продвигает или не продвигает по службе, оплачивает их работу. Одним словом, держит их в полной зависимости, как министерство обороны — своих офицеров или министерство финансов — работников налоговой службы. В таких условиях судьи теряют моральное право судить. У них всегда будет сильное искушение принимать решения, угодные правительству.

Правда, несменяемость судей может служить определенной гарантией их объективности, но это справедливо лишь для тех судей, кто достиг вершины иерархии или намерен завершить свою карьеру, тех, кто по причине близкого ухода на покой или невозможности подняться по служебной лестнице еще выше не помышляет о дальнейшем продвижении. Молодой работник судебного ведомства, мечтающий — желание вполне законное — об удачной карьере, совершенно лишен всякой независимости; ведь если он не угодит, то останется при своих. Так что независимыми судьями, судьями, заботящимися только о справедливом приговоре, могут быть лишь судьи с сорокалетней выслугой лет да председатель кассационного суда. Прибавлю еще того, кто достаточно богат, не заботится о карьере и работает там, где начал. Такой судья очень похож на судей при монархии. В наши дни это всё большая редкость.

Кроме того, правительство время от времени упраздняет несменяемость судей, так что гарантия эта иллюзорная, и сегодняшнее судопроизводство столь же уязвимо, как и при королевской власти. Его компетентность с моральной точки зрения сильно ограничена.

А я как раз и утверждаю, что снижение моральной компетентности сводит на нет компетентность профессиональную, от которой приходится отказываться, когда власти судятся с частными лицами или даже когда люди, которым власти покровительствуют, судятся с теми, кого власти в своих друзьях не считают. И если власти судятся с частными лицами не так часто, то сторонники и противники власти судятся то и дело, ведь власть находится в руках правящей партии, которая без конца со всеми борется.

Не без основания считается, что парламентское правление с его избирательным правом — это, по существу, упорядоченная, но бесконечная гражданская война, пусть бескровная, но война, где в ходу оскорбления, провокации, клевета, доносы, обман, разборки между различными партиями, и длится она весь год без передышки. В нашей стране судебное ведомство может быть беспристрастным, только если оно полностью независимо. На деле же оно вовсе не автономно и вынуждено угождать правящей партии, которая постоянно оказывает на него давление из боязни лишиться власти.

— Тут ничего не поделаешь. Не предлагаете же вы вернуться к системе продажи судебных должностей?

— Кстати, это было бы не столь ужасно. И потом, можно воспользоваться преимуществами этой системы, не продавая самих должностей.

Итак, это было бы не столь ужасно. Мы, помнится, возмущались чрезвычайными судами, забыв о торговых судах, советах для рассмотрения трудовых споров, об их положительных сторонах — в данном случае то же самое. Люди возмущаются, что кто-то покупал должность советника при королевском дворе, а между тем судебные исполнители, стряпчие, нотариусы, от которых мы постоянно зависим и которым доверяем защищать свои важнейшие интересы, покупают или наследуют должности. Судиться в условиях продажи судебских должностей — значит иметь дело со стряпчими и нотариусами с более обширными знаниями в области юриспруденции, стряпчими и нотариусами высшей квалификации. Так что ничего ужасного тут нет.

Известно, что Монтескьё был за продажу судебских должностей, Вольтер решительно против. И оба были правы, я хочу сказать, что оба рассуждали в строгом соответствии со своими общими взглядами. «Эта система хороша в монархических государствах, — писал Монтескьё, — потому что она превращает в семейную профессию то, что при иных условиях зависело бы только от личных достоинств, готовя каждого к выполнению определенных обязанностей и способствуя сохранению сословий. Суидий правильно отмечает, что Анастасий, продав судебские должности, ввел в империи нечто вроде аристократического правления».

Вольтер возражает: «Разве в Англии принимают на себя должность королевского судьи, исходя из личных достоинств? [То есть исходя из личных достоинств или личного интереса. Если нет личного интереса, надо и впрямь обладать большими достоинствами, чтобы согласиться на такое.] И что? Нельзя

найти не за деньги судей для высшего суда Франции? [Найти-то можно, но будут ли они за это признательны — вот в чем вопрос.] Право осуществлять правосудие, распоряжаться судьбой и жизнью людей — семейное дело! [Но распоряжаться с оружием в руках, во время гражданской войны, судьбой и жизнью людей есть в 1760 году семейное дело, и я что-то не вижу, чтобы вы протестовали против него; да и королевская власть в 1760 году есть семейное дело, но вы не негодуете и здесь.] Жаль, что Монтескьё испортил свой труд подобными софизмами. Будем, однако, снисходительны. Его дядя купил себе должность провинциального судьи и передал её племяннику. Что ж, все мы люди, а человек по природе слаб».

Монтескьё полагает, что аристократия играет в обществе положительную роль, Вольтер же ратует за абсолютную власть. Монтескьё предпочитает, чтобы судейская должность передавалась по наследству, чтобы эта работа превратилась в семейную традицию, как, например, военная карьера, тогда судейское сословие будет таким же неизменным, как и другие. Вместе с Суидием он считает, что продажа судейских должностей создает своего рода аристократию. Вольтер же, подобно Наполеону I, хотел, чтобы были только королевские солдаты, королевские священнослужители, королевские судьи, чтобы все подданные принадлежали королю душой и телом.

Но у Монтескьё был оппонент посерьезней Вольтера — Платон. Относительно вообще всех должностей Платон в «Государстве» писал: «Это как если бы лоцманом на корабле делали за деньги. Может ли быть, чтобы правило, непригодное в любой другой области, оказалось приемлемым для управления государством?»

Монтескьё очень остроумно возражает Платону (а заодно и Вольтеру): «Платон говорит о государстве, где царит добродетель, а я о монархии. А при монархии, если должности не продаются в законном порядке, нищие и алчные придворные всё равно на них наживутся, и всё будет решать не выбор правителя, а случай».

Короче говоря, Монтескьё хочет, чтобы судьи, частично наследственные, частично набранные из людей с достатком, стали неким независимым привилегированным сословием — армией закона наподобие военных или священнослужителями закона наподобие духовенства — и отправляли правосудие профессионально, что подтверждалось бы университетскими званиями, и безусловно с нравственной точки зрения, пороку чему в свою очередь служили бы их независимость, достоинство, корпоративный дух и беспристрастность.

Я, однако, отмечал, что для получения таких результатов, для установления необходимых гарантий объективности вовсе не обязательно приобретение должностей за деньги. Должен лишь соблюдаться принцип независимости судей. А соблюдаться он может, только если должность судьи является его собственностью. Собственностью же она становится, если она куплена или получена по наследству, как было при короле, или если судья не назначается властью. Людям не нравится, когда должность покупают или получают по наследству, значит, надо, чтобы судей назначала не власть.

А кто же? Народ? Но тогда судья будет зависеть от народа, от избирателей.

— Так будет лучше, вернее, будет не так плохо.

— Во все нет. Судейские чиновники, назначенные избирателями, станут еще более предвзятыми, чем назначенные вла-

стями. Судья станет думать только о том, чтобы его избрали снова, и всегда становиться на сторону тех, кто поддерживает его партию. Захотели бы вы, чтобы вас судил суд вашего департамента? Нет, разумеется, если вы сторонник партии, проигравшей на выборах. Да, если сторонник выигравшей и противостояте человеку из партии более слабой. Если же ваш противник из одной с вами партии, всё будет зависеть от того, кто из вас более влиятельный избиратель. *Ad summam**, в случае избрания судебных чиновников о непредвзятости придется забыть.

Добавим, что избираемость судей приведет к большому и забавному разнообразию судебных систем, к пестроте. Там, где больше синих, судьи, избранные синим большинством, всегда будут судить в их пользу, если они, разумеется, хотят быть переизбраны. Там, где преобладают белые, судьи будут выступать на их стороне. «У права свои эпохи», — насмешливо восклицал Паскаль. У права будут, таким образом, и свои регионы. В Приморских Альпах оно будет одно, в Кот-дю-Нор — другое. Для беспристрастности кассационному суду придется дела из департаментов, где преобладают синие, отправлять на пересмотр туда, где больше белых, и наоборот. Как следствие, возникнет судебная, правовая и юридическая анархия.

— Если судебная должность не передается по наследству и не покупается, если она не назначается властью и не избирается народом, откуда же она берется?

— Из собственной своей среды. Иного выхода я не вижу.

Справедливая система одна-единственная, а воплощаться в жизнь она может по-разному. Пусть, например, все доктора

* Короче (*лат.*).

права во Франции назначают членов кассационного суда, а те в свою очередь назначают и продвигают по службе судей. При этом сохраняется их привилегированное положение и соблюдается демократический принцип, так как база остается широкой.

Или пусть судьи выбирают членов кассационного суда, а те назначают и продвигают по службе судей. Тогда выдерживается олигархический принцип.

Или некоторое переходное состояние между тем, что есть, и тем, что должно быть: только первый раз доктора права назначают членов кассационного суда, а те — судей, потом уже сами судьи заботятся о заполнении вакансий в кассационном суде, который назначает и продвигает их по службе.

Прокуроров по-прежнему назначают власти.

Во всех случаях судебное ведомство формирует из своих членов независимый автономный орган, подотчетный только ему, способный в силу своей полной самостоятельности занимать абсолютно непредвзятую позицию.

— Но тогда это каста!

— Да, каста. Как это ни прискорбно, судить по-настоящему может лишь тот, кто принадлежит к касте профессионалов, иначе судить будет либо власть, либо первый встречный. Но власти часто оказываются и судьями, и заинтересованной стороной в процессе, а если власть подозрительна, то она всегда думает, что на её интересы покушаются. Первый встречный тоже не может хорошо судить, потому что при такой системе он представляет партию большинства, а значит, по определению пристрастен.

Однако демократы не желают, чтобы их судила каста. Во-первых, они страшатся любой касты вообще, во-вторых,

непредвзятость им не на руку. И тут нет никакого парадокса. Обычно они против предвзятости в делах второстепенных, повседневных. Но когда вмешивается политика и против представителя большинства выступает представитель оппозиции, демократам надо, чтобы правосудие поддержало первого.

Они рассуждают по примеру одного простодушного депутата, заявившего председателю суда: «Ваша прямая обязанность — защищать большинство».

Вот почему демократы предпочитают судейских чиновников, которые, даже обладая отличными свойствами, не в состоянии *постоянно* выказывать непредвзятость; чиновников вроде высшего должностного лица, на вопрос об одной незаконной процедуре заявившего: «Так решила власть», позволившего тем самым власти попать и суд, и закон; чиновников, которые, впрочем из лучших побуждений, при попытке разделаться с нескончаемым делом применяли закон как дышло — подавая дурной пример, предоставляли законную возможность оспорить свое решение и вместо успокоения, к которому стремились, еще больше разжигали страсти; чиновников, пусть квалифицированных и здравомыслящих, но не пользующихся авторитетом, из-за того что их нравственная некомпетентность сводит на нет их профессиональные качества.

Более того, демократический режим идет еще дальше, и не может иначе, потому что не может не следовать до конца своему принципу. Считая идеальным прямое правление, он по тем же причинам также считает идеальными выборных судей. Он хочет выбирать своих судей.

Заметьте, что он их и так назначает, но через третьи руки: сначала выбирает депутатов, и те назначают правительство, назначающее судей, — долгая песня.

Можно, правда, сказать, что этапа не три, а два, ведь депутаты оказывают давление на выбор судей, на их продвижение или неподвижение по службе, а зачастую и на их решения. Всё же и это не так быстро. А так как по конституции или, вернее, по заведенному обычаю народ пусть опосредованно, но вполне реально определяет судей, демократический режим, как всегда, упрощая проблему, желает довести этот принцип до логического конца, чтобы народ определял судей прямо и сразу.

Тут, естественно, возникают вопросы практического порядка: как именно голосовать, как именно назначать? Если определять будут по отдельным кандидатурам, то каждый кантон изберет своего мирового судью, округ — своих судей для рассмотрения гражданских и уголовных дел, регион — региональных судей, вся страна — судей кассационного суда. Однако у этого процесса сразу два уже отмеченных недостатка: в каждом департаменте будут своя судебная система, свое правосудие и везде будет царить предвзятость.

Если кандидаты будут баллотироваться по спискам и каждая область образует судебное ведомство, полностью состоящее из членов победившей партии, правосудие будет осуществляться везде одинаково, но о беспристрастности придется забыть.

Промежуточные схемы соединяют в себе недостатки обеих крайних. Если, например, определять судей по регионам, мировые и все остальные судьи, советники и председатели суда в Бретани будут все белые и все предвзято настроенные, а

в Провансе — все синие и тоже предвзято настроенные. Разница, разумеется, будет, но она сведется лишь к разным оттенкам предвзятости.

Но это будущее, хотя не исключено, что и не такое уж далекое. Останемся в настоящем. Сегодня еще функционирует суд присяжных. Нравственная компетентность такого суда на должной высоте, но профессионализм — ниже всякой критики. Создается впечатление, что демократический режим вообще тяготеет к некомпетентности — не в одном, так в другом. Суд присяжных полностью независим — независим от властей, независим от народа в самом прямом смысле слова. Суд присяжных представляет народ, но им не избирается и не стремится переизбраться, находя, что и одного срока более чем достаточно. При этом, однако, постоянно раздираемый двумя противоположными чувствами — жалостью и стремлением соблюсти закон, человеческой симпатией и желанием защитить общественный порядок, он *одинаково* подвержен влиянию словесных ухищрений адвоката и прокурора. Когда влияние этих последних уравнивается, возникает оптимальная с нравственной точки зрения ситуация для принятия правильных решений.

Именно поэтому суд присяжных имеет такую давнюю традицию. В Афинах сходные функции выполнял суд гелиастов, более походивший на народное собрание, поскольку число членов его было очень велико.

В Риме, государстве с более упорядоченными институтами власти, претор назначал судей из граждан, которые решали, совершено преступление или нет, заплачены деньги или нет, приговор же выносили центумвиры.

В Англии суд присяжных существует и функционирует на протяжении столетий.

Столь различные народы с полным основанием сочли, что присяжные заседатели с моральной точки зрения находятся в наилучших условиях и способны судить объективно, то есть их нравственная компетентность высока, как ни у кого.

Всё это правильно. Вот только они ничего не смыслят в существе дела. Так, суд присяжных в Кот-д'Ор в ноябре 1909 года, рассматривая дело одного убийцы, объявил, что, во-первых, тот не наносил ударов, а во-вторых, нанесенные им удары вызвали летальный исход. На основании этого заявления пришлось вынести оправдательный приговор человеку, чья жестокость, никак себя не проявившая, привела к смерти жертвы. В том же ноябре 1909 года суд присяжных, разбирая дело Стейнейла, сделал заключение, из которого вытекало, что в доме Стейнейлов никого не убили и что мадам Стейнейл не является дочерью мадам Жапи. Если бы решение присяжных заседателей играло роль судебного постановления, оно, с одной стороны, привело бы к прекращению каких бы то ни было поисков убийц двух женщин, с другой — к невероятной путанице с точки зрения гражданского установления.

Однако решение присяжных заседателей не судебное постановление. Почему? Потому что законодатель предвидел возможность столь нелепых решений, то есть их вероятность предусматривалась. Практика показала, что эта вероятность чрезвычайно высока. Похоже, суд присяжных принимает решения, бросая кости, как тот славный судья у Рабле. Во дворце правосудия шутят, что с судом присяжных никогда не угадаешь, чем кончится дело. Можно подумать, что присяжные за-

седатели рассуждают по принципу: мы здесь люди случайные, пусть и решение наше будет случайным.

Известно, что Вольтер выступал за суд присяжных, уж больно он ненавидел судей своего времени — «Бузирисов», как он их называл. Однако со своей обычной непоследовательностью он и не пытался скрыть, больше того, неоднократно заявлял, что жители Абвиля и окрестностей, а равно и жители Тулузы и прилегающих областей *единодушно* как с цепи сорвались, нападая — одни на Лабара и Эталонда, другие — на Каласа. Следовательно, если бы суд присяжных, который неизбежно состоял бы из жителей Абвиля и Тулузы, судил Лабара и Эталонда, их приговор не сильно отличался бы от приговора «Бузирисов».

Суд присяжных не что иное, как смягченное проявление культа некомпетентности. Общество возлагает задачу защитить его от воров и убийц на нескольких граждан, вооружив их законом, но почему-то считает себя в безопасности, если выбирает тех, кто этим оружием не владеет. Суд присяжных — гладиатор с сетью, который, не зная, как с ней обращаться, запутывается сам.

Бесполезно говорить, что демократы гнут свою линию — тут они большие мастера. К настоящему времени они опустили суд присяжных еще на одну ступень, превратив его из буржуазного в рабочий. Здесь я, правда, не вижу ничего плохого, так как суд, состоящий из буржуа, и суд, состоящий из рабочих, равно некомпетентны и неквалифицированы. При подобном переходе спада особого нет. Отмечаем же мы эту особенность, чтобы обратить внимание на тенденцию демократического режима к наиболее полному вытеснению специалистов из судебных органов.

Тем не менее сегодня еще действует институт мировых судей.

Но вот пример, достаточно показательный для демократического государства, предпочитающего иметь дело с людьми, малосведущими в области судебной практики:

Из-за больших расходов, на которые должны идти стороны, чтобы перевести дело в более высокую судебную инстанцию, последнее слово очень часто оказывается именно за мировыми судьями. Значит, особенно важно, чтобы они были образованными, разбирались в вопросах права и судебной практики. Обычно их выбирали из лиценциатов права, бакалавров права, бывших служащих нотариальных контор, владеющих свидетельством о прохождении курса обучения по данной специальности. Впрочем, гарантией достаточной квалификации это служило далеко не всегда.

Законом от 12 июля 1905 года сенат Франции, стремясь достичь еще большей некомпетентности судебных органов, постановил, что мировыми судьями могут также быть лица, которые, «не имея ни степени лиценциата или бакалавра права, ни свидетельства о прохождении соответствующего курса, проработали бы десять лет в должности *мэра, помощника мэра* или генерального советника».

Тут налицо желание, вполне законное и по-человечески понятное, дать возможность сенаторам и депутатам оплатить должностями мировых судей за услуги на выборах (заметим, что сенаторов, в частности, выбирают мэры и сельские старосты). Но самое важное тут *следование принципу*. Принцип мы знаем: достижение полной некомпетентности. Только тому, кто ею безусловно обладает, можно доверить ответственный пост.

Подобному критерию как раз отвечают мэры и сельские старосты. Мэры и старосты во Франции должны уметь расписываться, но им необязательно уметь читать. В восьмидесяти случаях из ста они полностью безграмотны, и всю работу за них выполняет местный учитель. Сенат, следовательно, был совершенно уверен, что найдет в них людей, абсолютно неспособных выполнять функции мировых судей. А раз так, то эти функции необходимо им предоставить. Сказано — сделано.

Кое-какие последствия такого сугубо демократического подхода к делу, кажется, вызвали беспокойство у представителей судебной системы и государственной власти. На исходе 1909 года глава министерства юстиции Барту пожаловался на то, что новшество добавило ему забот. Он заявил депутатам: «Мы здесь для того, чтобы говорить друг другу правду, поэтому со всей подобающей сдержанностью и бесстрашием я обязан предостеречь палату против негативных последствий закона 1905 года. В настоящее время меня осаждают претенденты на должность мирового судьи. Дело даже не в том, что в министерстве юстиции скопилось около 9 тысяч заявлений. Допускаю, что среди них есть такие, которые по разным причинам не подлежат рассмотрению. Но приблизительно 5 с половиной тысяч кандидатов *пользуются поддержкой* влиятельных лиц, стало быть, их заявления *рассматриваются*. [Другими словами, рассматриваются, потому что поддерживаются. Кандидатуры, не рекомендованные какой-либо видной политической фигурой, остались, естественно, за бортом этой процедуры.] Если принять во внимание, что в год в среднем образуется 180 вакансий, станет ясно, с какими трудностями мне приходится сталкиваться. Есть люди, которые настойчиво стремят-

ся, буквально рвутся занять место мирового судьи, — это те, кто в течение десяти лет исполнял должность мэра или старосты в крошечных коммунах».

Далее министр юстиции познакомил господ депутатов с рапортом генерального прокурора по этому вопросу.

«В этом департаменте сорок семь мировых судей, — писал генеральный прокурор. — Согласно поименному списку, двадцать из них в момент назначения исполняли должность мэра. Нет ничего удивительного в том, что среди глав городского самоуправления число кандидатов на должность кантональных судей растет с каждым годом. В данном департаменте, кажется, решили, что выборные должности, независимо от профессиональной пригодности кандидата, — самый прямой путь к постам хорошо оплачиваемым, в частности к должности мирового судьи. После назначения мировой судья, как правило, сочетает свои новые функции с муниципальными обязанностями. Он гораздо чаще находится в коммуне, которой руководит, нежели в кантоне, где вершит правосудие и из которого, вообще-то, он не должен отлучаться, кроме как в отпуск. Кантональные судьи часто ничем не брезгают, лишь бы заручиться моральной поддержкой политических деятелей своего округа — своеобразной платой за помощь на выборах, оказанную ими в качестве муниципальных чиновников. Возможное посредничество депутата перевешивает в их глазах угрозу прокурорского надзора. Из-за этих сделок с совестью страдают интересы участвующих в тяжбе сторон, что наносит удар репутации республиканского режима».

Стенания министра юстиции и генерального прокурора, на мой взгляд, малообоснованны. Господин министр жа-

лется в основном на то, что у него на руках 9 тысяч дел. Ему по-прежнему ничего не стоит в соответствии с основным принципом режима назначить мировыми судьями самых некомпетентных из кандидатов или соблюсти обычай и назначить тех, кого, по его мнению, наиболее активно продвигает власть.

В рапорте же генерального прокурора проскальзывают иронические пассажи, которые ему самому, вероятно, представляются остроумными, но на самом деле свидетельствуют лишь о его простодушии: «В данном департаменте, кажется, решили, что выборные должности, независимо от профессиональной пригодности кандидата, — самый прямой путь к должностям хорошо оплачиваемым...» То-то и оно! В высшей степени демократично, чтобы профессиональная непригодность была главным условием при выборе претендента на должность. Это соответствует духу демократического режима. Да и разве сам избиратель сведущ в законодательных вопросах или вопросах управления?

Также в высшей степени демократично, чтобы путь к хорошо оплачиваемым должностям шел через должности выборные, так как, согласно демократическим канонам, все оплачиваемые должности, как, впрочем, все должности вообще, следует сделать выборными. Генеральный прокурор на поверку оказался аристократом.

Взаимные услуги мирового судьи — одновременно мэра — и депутата типичны для режима. Демократический режим — это депутаты, продающие свою поддержку за то, чтобы их избрали и переизбрали, и влиятельные избиратели, использующие свое личное влияние или должностное положение в ин-

тересах депутатов в обмен на ту или иную услугу. Те и другие составляют как бы единое целое.

Так чего хотел бы генеральный прокурор? Иного режима, чем нынешний? Но, помилуйте, иной режим, каким бы он ни был, не будет демократией, или он не будет демократической демократией. — Ума не приложу, что господин генеральный прокурор подразумевает под хорошей репутацией республиканского режима, если его задача и состоит в претворении в жизнь демократических принципов. Как раз в данном случае эти принципы осуществляются на практике как нельзя лучше, над чем стоит поразмыслить нашим социологам.

8

Некомпетентность в других областях

Я уже отмечал, что культ некомпетентности расплывается подобно жирному пятну, распространяется подобно заразе. Появляясь в одном месте, он сам собой, как эпидемия, расходится во все стороны. Опираясь на конституцию — средоточие и стержень государственности, — он кардинальным образом влияет на обычаи и нравы народа.

Правильно говорят, что театр подражает жизни и что жизнь, возможно в еще большей степени, подражает театру. Так же и законы проистекают из нравов, но и нравы едва ли не в большей степени определяются законами. «Многие вещи обуславливают поведение людей, — пишет Монтескьё, — климат, религия, законы, высказывания представителей власти, события прошлых лет, нравы, воспитание — всё это вместе формирует дух народа». К факторам, влияющим на человеческое

поведение, можно причислить и действия, основанные на принципе взаимности.

Чаще всего законы зависят от нравов, особенно при демократическом строе, что, в общем-то, прискорбно. Но Монтескьё верно заметил: «Нравы отражают законы, а поведение людей отражает нравы», и еще: «Законы могут по крайней мере способствовать изменению нравов и поведения людей» — и даже «характера нации». Нравы римлян времен империи частично объяснялись произволом властей, нравы англичан — конституцией и законами.

Известно, что Петр Великий своими законами коренным образом изменил если не характер, то, во всяком случае, обычаи и нравы русского народа.

Законы порождают обычаи, обычаи порождают нравы. «Характер» остался прежним, по-моему, его вообще ничем не изменить. Тем не менее определенная перемена налицо, так как некоторые черты характера, прежде подавляемые, стали проявляться в открытую, и наоборот. Как бы вступил в действие некий механизм. Так, очевидно, что закон, упразднивший право первородства, хоть и не изменил полностью характер народа, но изменил нравы, что в определенном смысле, опосредствованно отразилось и на характере. Чувство, что ты с детства кому-то подчиняешься, пусть и не в такой степени, как отцу, понимание того, что кто-то выше тебя по праву рождения, создает особое умонастроение. Ясно, что семейные отношения в странах, где принято составлять завещания, совсем не такие, как там, где ребенок считается совладельцем семейного имущества.

Замечено, что после принятия закона о разводе — необходимость, пусть и печальная, — заявлений о разводе подаст-

ся больше, причем значительно больше, чем прежде подавалось заявлений о раздельном проживании супругов. Связано ли это с тем, что в последнем случае достигалась лишь относительная свобода, независимость наполовину, и люди думали, что из-за такой малости не стоит затевать дело? Не думаю; ведь когда ярмо невыносимо, возникает естественное желание хотя бы ослабить его, если нет возможности снять совсем.

Причина, по-моему, заключается в том, что прежний гражданский закон, согласовавшийся с церковной догмой, заставлял людей смотреть на брак по-особому, как на нечто священное, как на связь, разорвать которую позорно, — на это решались, лишь когда было совсем не в состоянии, вынужденно, чуть ли не под страхом смерти. Закон о разводе, как сказали бы наши отцы, приучил к легкомысленному отношению к браку, отменил стыд. Сегодня разводятся, не испытывая никаких угрызений совести, если только не препятствует сильное религиозное чувство. Защелка была отодвинута: стыдливость оказалась в загоне, верх взяло желание освободиться от прежнего или вступить в новый союз. Конечно, закон о разводе — следствие новых настроений в обществе, новых нравов, но и сам он, в свою очередь, породил новые нравы, распространил те, что только складывались.

Точно так же и демократический режим распространяет, расширяет область своего пристрастия к некомпетентности — столь для него характерного, основополагающего свойства. Греческие философы очень любили насмешливо живописать демократические нравы, то есть домашние и личные привычки, инспирированные и поддерживаемые, на их взгляд, государством. В этом отношении они ничуть не уступали Аристо-

фану. «Я очень доволен, — заявляет один из персонажей Ксенофонта, — тем, что беден. Когда я был богат, мне приходилось то и дело обхаживать клеветников: я знал, что они способны причинить мне больше вреда, чем я им. Государство постоянно качало из меня деньги, и потом, я не мог никуда отлучиться. Бедность предоставила мне власть. Никто мне не угрожает, наоборот, угрожаю я. Я волен уехать, волен остаться. Богатые встают при моем появлении, уступают дорогу. Раньше я был рабом, теперь я король. Раньше я платил дань государству, теперь оно меня кормит. Мне нечего терять, я надеюсь только приобрести...»

Шутит по этому поводу и Платон: «Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно ткань, расцвеченная всеми цветами, этот строй, испещренный разнообразными правами, может показаться всего прекрасней... В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если у тебя и есть к этому способности; необязательно и подчиняться, если ты не желаешь... ты можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесна на первый взгляд и не соблазнительна подобная жизнь? Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе: словно никому до него нет дела и никто его не замечает, разгуливает такой человек, прямо как полубог... Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократического строя; напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, говори-

ли мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетельным; то же самое если с малолетства — в играх и своих занятиях — он не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, высокомерно поправ всё это, нисколько не озабочен тем, кто от каких занятий переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаруживал свое расположение к толпе. Весьма благородная снисходительность! Это и подобные ему свойства присущи демократическому строю — строю, не имеющему должного управления, но приятному и разнообразному. При этом существует своеобразное равенство, уравнивающее равных и неравных... Когда во главе государства, где демократический строй и господствует жажда свободы, доводится встать дурным виночерпием, государство это сверх должного опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиняет в мерзком олигархическом уклоне... Правители, похожие на подвластных, и подвластные, похожие на правителей, там восхваляются и уважаются... Разве в таком государстве не распространяется неизбежно на всё свобода? Она проникнет и в частные дома: отец привыкнет уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей, а сын — значить больше отца, там не станут почитать и бояться родителей... переселенец уравнивается с коренным гражданином, а гражданин — с переселенцем; то же самое будет происходить и с чужеземцами. При таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подражать взрослым и состязать-

ся с ними в рассуждениях и делах, а старшие, приспособляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, чтобы не казаться неприятными и властными... Да, мы едва не забыли сказать, какое там равноправие женщин и мужчин и какие свободные отношения царят между женщинами и мужчинами! А насколько здесь свободнее, чем в других местах, участь животных, подвластных человеку, — этому никто не поверил бы, пока бы сам не увидел. Прямо-таки по пословице: собаки — это хозяйки. Лошади и ослы привыкли здесь выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дороги!»*

Аристотель, изменяя в этом отношении своему любимому принципу — возражать во всем Платону, — не испытывает, как мы видели, никакой симпатии к аристократии**. Он относится к ней сдержанно, иногда отпускает шутки на её счет, но никогда не язвит. Он не сгущает краски, подобно Платону, но и ни в коей мере её не щадит.

Прежде всего, Аристотель явно сторонник рабовладения, — собственно, как и любой философ древности, кроме разве что Сенеки, — причем не просто сторонник, Аристотель защищает рабовладение со свойственным ему пылом и энергией. Рабство для него не просто одна из основ, но самый фундамент — совершенно необходимый — античного общества.

Более того, Аристотель и ремесленников держит за полурабов. Подходя к проблеме с исторической точки зрения, он утверждает, что лишь погрязшие в коррупции демократичес-

* Перевод А. Н. Егунова.

** По-видимому, опечатка в тексте. Должно быть: демократии. (*Прим. ред.*)

кие режимы предоставили им право гражданства. По его мнению, при разумном управлении государством этого бы не произошло. «У некоторых народов до начала демократических злоупотреблений ремесленников не подпускали к магистратуре. В древности ремесленники обладали не большими правами, чем рабы и чужеземцы. И по сей день подобное отношение к большинству ремесленников сохраняется. Очевидно, что в идеале город не должен принимать их в число граждан...»

Несомненно, демократия — это форма правления («...если причислить демократию к формам правления»); несомненно, «может случиться, что большинство, состоящее из людей обыкновенных, возьмет верх над человеком выдающимся, но лишь благодаря своей массе, а не за счет личных качеств... Почему большинство судит лучше о музыкальных и поэтических произведениях? Потому что один оценивает одно, другой — другое и все оценивают всё. [Заметьте, что Аристотель говорит здесь о демократическом государстве, где ни рабы, ни ремесленники не являются полноценными гражданами.] Несомненно, можно рассматривать демократию как «наиболее сносную из выродившихся форм правления», и Платон, хотя и по другим соображениям (чем Аристотель), вполне резонно заключил, что «демократия — самая плохая из хороших форм правления, но лучшая среди плохих». При этом трудно не счесть её неким социологическим заблуждением. Неверно, будто городу выгодно «принимать в граждане всех людей, даже полезных, в которых он нуждается для того, чтобы существовать».

Значительный недостаток тут в том, что город по природе своей не в состоянии мириться с присутствием человека

выдающегося. При демократии «если какой-нибудь гражданин или несколько граждан намного превосходят других по своим достоинствам или влиянию, его или их уже нельзя рассматривать как составную часть городского населения. Несправедливо было бы их, стоящих настолько выше других, ставить на одну доску с остальными горожанами. На столь выдающуюся личность следует, по-видимому, смотреть как чуть ли не на Бога. Ясно, что законы необходимы лишь для людей, равных по рождению и личным качествам, для тех же, кто существенно возвышается над другими, закон не писан. Они сами себе закон. Тот, кто вздумал бы наложить на них путы закона, только выставил бы себя на посмешище. Вспомним, что ответили львы Антисфена зайцам, ратовавшим за равенство всех животных. Именно поэтому в демократических государствах, более всех других проповедующих равенство, ввели остракизм. Как только кто-нибудь превосходил сограждан влиянием, богатством, числом приверженцев или политическим весом, его тут же подвергали остракизму, изгоняли из города. Это как Геркулеса аргонавты не взяли с собой: тот был таким тяжелым, что «Арго», их корабль, не мог его выдержать».

Тиран Милета Фрасибул как-то попросил у тирана Коринфа Периандра, одного из семи греческих мудрецов, совета, как править городом. Вместо ответа Периандр прошелся по пшеничному полю, сбивая самые высокие колосья. «Не только тиранам выгодно так поступать, и не только тираны так поступают. То же самое происходит в олигархических и демократических государствах. Остракизм приводит в них почти к одинаковым результатам, когда изгоняют из страны тех, кто слишком возвышается над своими согражданами».

Для демократического режима это необходимость, отражающая его природу.

Демократиям, правда, не всегда приходится прибегать к изгнанию — сбивать колосья. Ведь можно изолировать и внутри страны, то есть последовательно препятствовать какому бы то ни было возвышению человека или даже исправлению им общественных функций, если он превосходит других рождением, богатством, добродетелями или талантом. Это остракизм, так сказать, негласный. Я уже обращал внимание на тот факт, что при первом демократическом режиме Людовика XVI отправили на гильотину за то, что он хотел покинуть страну, а при третьем — его внучатые племянники были выдворены из Франции, несмотря на то что хотели остаться. К остракизму тогда прибегали осторожно, с оговорками. Такое положение сохранится и в ближайшем будущем. Рано или поздно остракизм занимает свое место при любой системе подавления для нейтрализации того или иного влиятельного лица, намного или пусть немного возвышающегося над средним уровнем. Остракизм — это, если можно так выразиться, физиологический орган демократических режимов. Используя этот орган, режим калечит государство, обходясь без него, калечит себя.

Аристотель часто задавался вопросом о «выдающемся человеке». Выдающаяся личность, по его словам, отличается от человека толпы, как красота — от уродства, как прекрасная картина — от реальности, хотя и в реальном мире отголоски прекрасного присутствуют. «Действительно ли у всякого народа разница между толпой и малым числом людей незаурядных всегда одинакова? Вряд ли, но это и неважно. Наше на-

блюдение всё равно справедливо [независимо от того, есть разница или нет]. Тогда насколько оно поможет разрешить проблему: какую властью должно быть наделено подавляющее большинство народа? Открыть ли ему доступ к высшим должностям? Но тогда возникает опасность, что из-за своей непорядочности его представители будут творить несправедливость, а по недостатку знаний — ошибки. Полностью же закрыть ему доступ к власти — значит нажать для государства массу врагов. Остается дать ему возможность участвовать в обсуждениях... Именно поэтому Солон...^{*} Однако каждый отдельный представитель большинства на здравое суждение не способен».

Неудобен для демократий не только «выдающийся человек», неудобна любая сильная личность, любое сильное сообщество, которое находится вне государственного влияния, не под надзором органов управления.

Если вспомнить, что Аристотель приравнял демократию в её крайней форме к тирании, интересным покажется, как он вкратце представляет *средства* тирании: «подавлять тех, кто превосходит других какими-либо качествами, обрекать на смерть людей благородных, не позволять ни совместных трапез, *ни собраний единомышленников, ни обучения* [кроме навязанного государством], ничего подобного, воздерживаться от обычаев, порождающих величие души и доверие, не мириться с тем, чтобы люди вместе проводили досуг — *и пусть граждане меньше знают друг друга*». Выводы, которые делает Аристотель, носят *личностно-аристократический* характер:

^{*} Так в оригинале. (Прим. ред.)

«Идеальное государство вызывает у нас одно достаточно неприятное затруднение. Что делать, если кто-то обладает ярко выраженным превосходством над другими не в таких обычных вещах, как сила, богатство, число сторонников, а в добродетели? Нельзя же его из-за этого изгонять из государства. Но нельзя и заставлять подчиняться большинству. Это всё равно что покушаться на власть Юпитера. Остается одно: пусть все с готовностью согласятся повиноваться ему, что кажется вполне естественным, и пусть поклянутся и впредь предоставлять бразды правления ему подобным». Однако, *объективно* разбирая самые различные формы государственной власти, Аристотель делает другой вывод. Нам еще представится возможность затронуть его в своем изложении.

Из новых авторов упомянем Руссо, справедливо утверждавшего, что он не демократ, ведь под демократией он понимал режим в Афинах, режим прямого народного правления, которое он считал нежелательным. В своем «Общественном договоре» Руссо, несмотря на некоторые противоречия и недомолвки, показал ясную общую схему демократического правления в том виде, в каком мы понимаем его сегодня. Не берусь, однако, утверждать, демократ ли он в строгом смысле слова, так как не совсем понятно, кого он подразумевает под гражданами — всех жителей государства или определенный, пусть и самый многочисленный, класс общества. Руссо больше, чем кто-либо ещё, говорил, правда, не собственно о влиянии демократических идей на нравы, а о *согласии*, так сказать, демократии с добрыми нравами. В государствах, где у власти не король, не аристократы, не плутократы, царят, по его мнению, равенство, умеренность, простота. Получается, что если

какие-либо народы предпочтут равенство, умеренность, простоту, то управлять ими будут не аристократия, не плутократия, не король. Возлюбите простоту, умеренность, равенство, и, вполне вероятно, вы будете жить в демократической или почти демократической республике. Вот какое резюме, непредвзятое, как мне кажется, и ясное, можно извлечь из сумбурных, несмотря на жесткие формулировки, взглядов Руссо.

Руссо лишь следует Монтескьё — значительно больше, чем хочет в этом признаться. Всё вышесказанное едва ли не слово в слово можно обнаружить у Монтескьё в главах, посвященных демократии, и его знаменитая «основная добродетель государства» отражает совокупность трех наивысших качеств — равенства, простоты, умеренности. Слово «добродетель» Монтескьё употребляет то в узком, то в широком смысле, либо вкладывая в него политический смысл (осознание гражданского долга, патриотизм), либо подразумевая положительное свойство вообще (простоту, умеренность, бережливость, постоянство). И в этом втором случае мнения Монтескьё и Руссо полностью совпадают.

Вот только Монтескьё рассматривает еще и упадок демократии, как и других форм правления, и приходит — мы говорили об этом — к тем же выводам, что и Платон, хотя его не упоминает. Монтескьё пишет: «Когда народ стремится заменить собой высших должностных лиц, эти последние перестают пользоваться уважением: решения Сената уже не имеют веса, сенаторов, да и вообще стариков более не почитают, не почитают и отцов. Жены не слушаются мужей, ученики — учителей. Кругом царит распущенность. Трудно становится руководить, трудно — подчиняться. Жены, дети, рабы никого над

собой не признают. Нет больше добрых нравов, нет любви к порядку, нет, следовательно, добродетели».

Обратите внимание при переходе от нравов общества к поведению человека в семье и его личным качествам в условиях демократического режима на то, что изъяны в общественной и личной жизни имеют общий корень. И этот корень — недооценка, забвение такой важной вещи, как компетентность, пренебрежение к ней. Если ученики презирают учителей, молодые люди — стариков, жены — мужей, переселенцы из других земель — исконных граждан страны, осужденные — тех, кто их осудил, дети — отцов, это потому, что сама мысль о необходимости компетентного отношения к делу вытравлена из сознания общества: ученики не признают научного превосходства своих наставников, молодые люди отрицают жизненный опыт старцев, жены не ценят знания мужей в практической области, пришельцы не ставят ни во что национальные традиции местных жителей, осужденные не чувствуют моральной правоты судей, детям чужда идея о том, что отцы богаче их знаниями, опытом, гражданскими и нравственными достоинствами.

Но откуда взяться уважению — во всяком случае, уважению глубокому, прочному, постоянному, — к наставникам, мужьям, старикам, отцам, если само государство строится без учета компетентности, если последняя не ставится во главу угла, если потребность в ней не ощущается, если её не почитают водительницей во всех делах?

Нравы общества влияют, таким образом, и влияют существенно, на поведение граждан в быту, в свете, на повседневные отношения между ними. Возникает ухудшение нравствен-

ного климата, причину которого Платон весьма остроумно определял как «равенство, уравнивающее равных и неравных». В семейных отношениях демократическое государство прежде всего провозглашает и поощряет равенство между полами и, как следствие, неуважение жены к мужу. По сути сама эта идея вполне справедлива, но с точки зрения компетентности дело обстоит иначе. Умственные способности у мужчины и женщины одинаковы, и в обществе, где учитываются лишь они, муж и жена равны. Везде женщины должны приниматься на работу наравне с мужчинами при условии одинаковых способностей и одинаковом уровне подготовки. Однако в семье, как и на предприятии, необходимы: 1) разделение труда с учетом компетентности её членов; 2) признание одного из членов семьи главой с учетом того же фактора. При демократическом режиме женщины об этом постоянно забывают. Они не признают разделения труда ни в семье, ни за её пределами. Женщины претендуют на мужскую работу, которую они выполняли бы ничуть не хуже, не будь у них иных забот. Но так как на их плечи ложится много всего другого, к хорошему это не приводит. Жены не желают подчиняться мужьям, они хотят не просто участвовать в управлении семьей, а начальствовать в одиночку. Налицо несоблюдение условий, при которых компетентность ставится во главу угла. Жена, разумеется, разбирается в финансовых вопросах не хуже мужа, но в семье заниматься денежной стороной дела должен кто-то один, как кто-то один — вести хозяйство. Но если тот, кто ведет хозяйство, пожелает взвалить на себя еще и денежное обеспечение семьи, это будет так же плохо, как если бы глава семьи вздумал стряпать и ходить за покупками. Надо соблюдать условия и дого-

воренности, которые обеспечивают компетентное отношение к взятому на себя труду. Благодаря привычке и постоянному упражнению такое отношение позволяет выработать компетентность в самом широком смысле слова, а любое вмешательство извне губит, извращает, сводит её на нет.

Именно презрением, несколько не скрываемым, к этой изначальной и благоприобретенной компетентности, а также нежеланием признавать мужа главой семьи жены мало-помалу приучают детей презирать своих отцов. Демократия воспитывает в детях презрение к отцам и матерям. Другого слова, кроме как презрение, не подберешь, какими бы невинными на первый взгляд целями, какими бы благими намерениями она ни прикрывалась. Посудите сами. Сначала демократия отрицает за мертвыми право руководить живыми, направлять их действия. Одно из основных, фундаментальных правил демократического режима: не должно быть никакой связи между поколениями. Какой же вывод сделают дети из этого правила, из его практического применения, короче, из того, что они видят вокруг? Естественно, они решат, что со старшим поколением — с отцами и матерями — их ничто не связывает.

Детей, разумеется, и так многое заставляет отвернуться от родителей. Гордые своим физическим превосходством, уверенные в том, что их жизнь идет по восходящей, а жизнь отцов — по нисходящей, они отдают дань универсальному предубеждению современного человечества, *вере во всеобщий прогресс*, в то, что всё, что было вчера, по определению хуже, чем то, что есть сегодня. Некая Немезида, как я всегда полагал, заставляет их думать, что наука будет развиваться, а мощь че-

ловечества возрастет во сто крат, если дети, подхватив эстафету из рук отцов, начнут с того, что разрушат построенное теми и лишь затем начнут строить сами. В результате здание как было, так и остается при своем фундаменте. Дети склонны относиться к отцам, как в свое время троянцы относились к Кассандре. Демократия вдобавок учит, что поколения никак друг от друга не зависят и опыт мертвых живым ни к чему.

Далее, основываясь на том, что всё принадлежит государству, демократия изымает, насколько это возможно, ребенка из-под влияния семьи. «Демократия, — говорит Сократ в одном из своих шуточных диалогов, — бродячий акробат, похищающий детей. Она крадет ребенка, когда он играет во дворе. Она уводит его из семьи и не разрешает больше видеть родных. Обучает всякой тарабарщине, вызывает разброд, сумятицу в его мыслях, гримирует, напяливает на него нелепую одежду, учит делать сальто-мортале, выступать перед публикой и развлекать её своими фокусами».

Как бы ни было, демократический режим старается изъять ребенка из семьи, дать ему то образование, какое выбрало государство, а не родители, внедрить в его сознание, что не надо доверять родительским наставлениям. Демократия оспаривает компетентность родителей, заменяя их собою, как будто лишь оно разбирается в воспитании детей.

Это одна из основных причин разлада между отцами и детьми в условиях демократического режима.

Мне возразят, что государству это не всегда удастся, ведь то презрение, какое дети по многим причинам испытывают по отношению к родителям, они вполне могут распространить и на своих новых наставников.

Замечание справедливое. Демократический режим и впрямь учит детей пренебрегать не только родителями, но и учителями. Учитель в глазах учеников олицетворяет собой прошлое, никак не связанное с настоящим, тем более что само понятие прогресса предполагает явное превосходство настоящего над прошлым. Всё так. Однако получается, что школа ведет атаку на родителей, а те дома противостоят школе, и ребенок, находясь между молотом и наковальней, отвергает всё скопом. Ситуация как в семье, где мать — верующая, отец — атеист и ребенок не воспитывается, не получает никакого образования вообще. Воспитание, то есть передача основных идей от родителей к детям, осуществляется в семье, которая сама выбирает детям учителей, близких себе по духу. А как раз этого демократическое государство допустить не желает.

Тем более не уважаются, не почитаются при демократическом режиме старые люди. Таким образом отвергли и отстранили еще одну большую группу компетентных людей. Можно написать целый трактат, весьма любопытный, о величии и падении стариков. Старикам не с чего быть довольными цивилизацией. В первобытном обществе, как и сегодня еще среди дикарей, власть принадлежала им. Геронтократия — самая древняя форма правления. Это и понятно, ведь в первобытные времена все знания зиждились на опыте, стало быть, старцы являлись как бы носителями исторической, социальной и политической информации. Поэтому их окружали почетом и слушали с величайшим вниманием и уважением, чуть ли не с суевренным трепетом. Именно эти времена имел в виду Ницше, когда говорил: «Отличительная черта людей благородного проис-

хождения, черта аристократии — почитание старцев». И в объяснение добавлял: «Почитание старцев — почитание традиции». Подобно тому как инстинктивно признавали власть мертвых над живыми, в старых людях почитали их наполовину уже умершими:

Старец, восходящий к источнику бытия,
Вступает в вечные дни, покидая дни изменчивые;
И если в глазах юношей пылает пламя,
В глазах старцев светится свет.

Впоследствии старцы *разделили* с королевской властью, или с олигархией, или с аристократией руководство общественными делами, сохранив, однако, судебную власть в своих руках почти полностью. Их сведущность в делах нравственных, их жизненный опыт ценили. Для современников компетентность старых людей в области морали обуславливалась тем, что их страсти притупились, а суждения обрели незаинтересованность, какую только возможно обрести. Даже старческое упрямство считалось не такой уж страшной вещью, способной, скорее, принести пользу. Оно не сопряжено с изменчивым нравом, капризами, приступами гнева, излишней внушаемостью. Значителен жизненный опыт людей, проживших долгую жизнь, они многое повидали на своем веку, многое сохранили в памяти, многие события могли сопоставить друг с другом, они превратились, сами того не замечая, в ходячий справочник. Мы знаем, что история всегда повторяется с незначительными, по сути дела, изменениями, и всякое новое событие для нее лишь повторение другого, давнего. Нет

ничего достойного удивления, и решения, принятые во время оно, достаточно лишь слегка приспособить к современным реалиям.

Но так это было в значительно отдаленные от нас времена.

Авторитет старца сильно подорвали книги. Книги содержат в себе знаний в области права, юриспруденции, истории заведомо больше, чем может удержать старческая память. В один прекрасный день молодежь сказала себе: теперь у нас есть книги, и в стариках теперь нет надобности.

Однако это заблуждение. Книжное знание лишь дополняет знание живое, знание, пропитанное действенной мыслью, которая придает ему гибкость, удостоверяет его истинность. Книга — ученый, разбитый параличом. Ученый — книга, которая продолжает размышлять и писать саму себя.

Но подобный подход был отринут, книги вытеснили стариков на периферию жизни, и те перестали быть кладезем знаний.

Потом по ряду причин старики превратились в предмет насмешек. Честно признаемся, они сами дают для этого повод: упрямцы, однодумцы, болтуны, выдумщики, зануды, ворчунны, неряхи. Авторы комедий, насмеявшиеся над вполне реальными недостатками стариков, нанесли им чувствительный удар. Мы знаем, завсегда театров — это в основном молодые люди, потому что их вообще больше, чем стариков, и потому что они чаще ходят на спектакли. Авторы комедий с полным правом рассчитывали на успех, высмеивая стариков, выставляя напоказ лишь их потешные черты, которых у них и впрямь хоть отбавляй.

В Афинах, Риме, вероятно не только там, старик считался фигурой комичной, а это, как очень точно заметил Руссо, коренным образом повлияло на нравы. Раз и навсегда став посмешищем, старый человек лишился общественного авторитета. В «Старости» Цицерона явно видно, как автор плывет против течения, противостоит общему мнению, реабилитируя столь мало симпатичный персонаж, находя для его поведения смягчающие обстоятельства.

Показательно, что в средневековых эпических поэмах даже сам Карл Великий, седобородый император, нередко представляется в смешном виде. Эпическая поэма приобретает вдруг черты фаблио.

В эпоху Возрождения, в XVII и XVIII веках старик не скажу всегда, но очень часто выглядел шутом гороховым.

Наследник скорее Аристофана и Плавта, нежели Теренция, Мольер был прямо-таки бичом стариков, бичом всякого рода нелепостей. Он преследует стариков, как пес свою жертву, не давая им спуска ни в стихах, ни в прозе.

Надо отдать должное Руссо и его дочери — они попытались вернуть старикам их достоинство, он — предоставляя им почетное место в своих произведениях, а она — еще более почетное во время публичных церемоний и национальных праздников. Тут и влияние Лакедемона и первых веков Рима, тут и своего рода реакция на времена Людовика XIV и Людовика XV.

Победа демократии оттеснила стариков на задворки общества. Демократический режим пропустил мимо ушей совет Монтескье, утверждавшего, что *при демократии* (см. «Законы», гл. 8) «ничто так не поддерживает нравы, как если

молодежь слушается стариков. В результате молодых будет сдерживать уважение к старикам, а тех — уважение к самим себе» [которое в свою очередь будет подпитываться уважением молодежи].

Демократы не вняли совету, ибо они не верят в традиции и переоценивают прогресс. Между тем старики — естественные хранители традиции и, надо признать, отнюдь не ярые приверженцы прогресса. Именно поэтому при демократическом строе они послужили бы отличным противовесом общему умонастроению, когда прошлым пренебрегают, а всякую перемену почитают прогрессом. Однако демократы не нуждаются ни в каком противовесе и в стариках видят лишь врагов: мало того что старики защищают традицию и не в восторге от прогресса, они хотят, чтобы их уважали, чтобы уважали религию, славные деяния, страну, её историю. Уважения демократы не терпят, подозревая, что их самих уважать не за что.

— Но чего же они требуют для самих себя?

— Отнюдь не уважения. Пыла, страсти, любви, преданности. Каждый хочет, чтобы другие испытывали к нему такие же чувства, какие испытывает он сам. Толпа не способна на уважение, она любит, возбуждается, воодушевляется, приходит в исступление.

На самом деле нет ничего удивительного в том, что народ не любит стариков. Сам народ сродни молодому человеку. Обращали ли вы внимание на то, что черты, которыми Гораций наделял молодого человека, вполне подходят и к толпе?

*Imberbis juvenus, tandem custode remoto,
Gaudet equis canibusque et aprici gramine campi;*

Cereus in vitium flecti, monitoribus asper,
Utilium tardus provisor, prodigus oeris,
Sublimis, cupidusque et amata relinquere perniae.

Юноша, коль от надзора наставника он уж свободен,
Любит коней и собак, и зеленое Марсово поле,
Мягче он воска к пороку, не слушает добрых советов.
Медлен в полезном, и горд, и сорит расточительно деньги,
Пылок в желаньях, но скоро любимую вещь оставляет*.

Как бы то ни было, уважение вовсе не во вкусе толпы, и, когда она царит, не об уважении свидетельствует её поведение. Демократия старикам отнюдь не ревностная подруга. Следует заметить, что термин «геронтократия» означал некогда явление вполне достойное, которое принималось древними как должное. Теперь же его употребляют в шутовском тоне, имея в виду правление, отданное на откуп старикам и ничего, кроме насмешек, не вызывающее.

Утрата уважения, на которую, как мы видели, указывали Платон, Аристотель, Монтескьё, — признак крайне тревожный, достойный как минимум самого серьезного к себе отношения. Кант, задавшись вопросом, чему человек должен повиноваться, благодаря какому критерию мы можем это определить, пришел к выводу: повиноваться надо тому, что вызывает наше уважение — не любовь или страх, а именно уважение, которое в этом отношении нас никогда не обманет.

* Пер. М. Дмитриева.

Так и в общественной жизни доверять нужно чувству уважения и почитать и слушаться тех, кто внушает это чувство. Это главный критерий, указывающий на то, кого нам следует чтить, кому оказывать знаки внимания, а то и подчиняться душой и телом. Старики — совесть нации. Пусть они строги, мрачны, придиричивы, упрямы, въедливы, нудны, пусть вечно твердят одно и то же, но они — совесть.

Сравнение есть смысл продолжить. К голосу совести можно не прислушиваться, его можно заглушить, не придавать ему значения, загнать вглубь, но нельзя заставить его замолчать. Совесть может заговорить на другом языке, на языке страстей, не низменных, но страстей. Повелительный тон она может сменить на доверительный, не прибегать к назиданию, а убеждать вкрадчивой речью. Совесть способна изменить тактику, натянуть на себя маску безразличия, скептицизма, дилетантства, чтобы сквозь соблазн и лесть пробилось мудрое слово. Голос её тогда говорит примерно следующее: «Может статься, порок и добродетель, преступление и порядочность, грех и невинность, грубость и обходительность, распутство и чистота лишь разные формы единого, разные формы жизни, не ошибающейся ни в одном из своих проявлений. Раз так, мы ничего не потеряем, если останемся честными людьми, вдруг нам даже будет лучше».

Не уважая своих стариков, народ уродует их, портит, безобразит. Прав Монтескьё, когда говорит, что старики, чувствуя уважение со стороны молодежи, начинают уважать самих себя. Лишенные уважения, старики теряют интерес к общественному служению, не желают больше выступать советчиками, а если и дают советы, то как бы окольным путем, словно извиняясь

за свою мудрость. Или они демонстрируют едва ли не распушенность, чтобы иметь возможность как бы невзначай высказать безобидное мнение по какому-либо поводу. Или еще хуже: видя, что их роль в обществе всё более затушевывается, старики добровольно сходят со сцены.

9

Общественные нравы

Культ некомпетентности ударил не только по семейным отношениям, вероятно, не менее отрицательно он сказывается и на общественных нравах, на отношениях между людьми. Часто спрашивают, почему люди сейчас не такие вежливые, как прежде. «Мы стали демократичнее», — смеются в ответ. Это так. Хорошо бы, однако, понять, какая тут связь. Монтескьё замечает, что «пренебрегают приличиями, когда не желают более обуздывать свои недостатки». И добавляет, проводя довольно тонкое различие: *«Вежливость* потакает порокам других, *соблюдение приличий* мешает проявиться нашим собственным. Люди устанавливают между собой этот барьер, чтобы не сделаться хуже». То, что потакает пороку, вряд ли можно назвать вежливостью, скорее угодничеством. Вежливость и правила приличия — примерно одно и то же и разнятся лишь степенью. Правила приличия чуть отдают холодом, их диктует ува-

жение. Вежливость несет в себе элементы учтивой лести, она любезно выставляет на свет положительные качества другого человека, а не его недостатки, а тем более пороки.

Ясно, что соблюдение приличий и вежливость — искусные способы оказать себе подобному знаки внимания и продемонстрировать желание, чтобы оказали их вам в ответ. Да, это своего рода барьеры, но барьеры, на которые можно опереться, барьеры, которые разделяют, но и поддерживают. Разделяют людей, не отдаляя их друг от друга.

Ясно также, что пренебречь правилами приличия или вежливостью — значит перестать скрывать свои недостатки. Вежливость и правила приличий зиждятся на уважительном отношении к другим и к себе. Очень хорошо по этому поводу сказал аббат Бартелеми: «Среди граждан высшего сословия царит благопристойность, позволяющая думать, что человек уважает себя, и вежливость, позволяющая думать, что он уважает других». Как заметил Паскаль: «Уважать кого-либо — значит обрекать себя на неудобства». Далее он объясняет: «Мы стесняем себя, оставаясь стоять, когда другой сидит, будучи с непокрытой головой, когда другой — в головном уборе, и это без всякой выгоды для себя. Такое наше поведение показывает, что мы готовы обречь себя на неудобство — исключительно из уважения, — лишь бы быть человеку полезным».

Вежливость — знак уважения и заверение в преданности.

А между тем всё это недемократично, так как демократия не признает превосходства одних над другими и, следовательно, не знает, что такое уважение и личная преданность. Уважать кого-нибудь — значит ставить себя ниже его, а проявление вежливости по отношению к равному подразумевает

стремление, похвальное в целом, считать его выше себя — полная противоположность духу демократии: никого нет выше тебя в чем бы то ни было, внушает она, относясь к равному, как к вышестоящему, лицемеришь вдвойне, так как лицемерие требует ответного лицемерия, и, восхваляя чужой ум, ты ждешь, что похвалят твой.

Но и без этого вежливость достойна осуждения уже потому, что, не желая признавать чьего-либо превосходства, она тем не менее сама его декларирует. Обращаясь с равным, как с вышестоящим, вы как бы поднимаете его в своих глазах. Вот уж поистине, если бы неравенства не существовало, его следовало бы выдумать. Вы словно заявляете во всеуслышание, что аристократии всегда не хватает. Демократам это как кость в горле.

Соблюдение приличий как заверение в личной преданности также антидемократично по своей сути. Гражданин не должен быть предан никому лично — только обществу. Крайне предосудительно объявлять себя чьим-то покорным слугой, выбрать кого-либо одного и обещать служить ему, признать чье-либо превосходство по каким-нибудь природным качествам или социальному положению, хотя никакого превосходства одного человека над другим нет и не может быть. Если кто-то лучше остальных по своим природным качествам, значит, природа сплеховала. Получается что-то вроде вассальной зависимости. Мириться с этим нельзя.

Утрата вежливости как «способ потакания своим недостаткам» тоже в некотором смысле демократична. Не то чтобы демократ был доволен или гордился своими недостатками, отнюдь нет. Просто он полагает, что у него их нет по определению. Более низкое положение одного человека по отноше-

нию к другому сродни изъяну. Само слово свидетельствует об этом: будто у меня что-то изъяли и я лишился того, что есть у другого. А между тем все люди равны. Следовательно, у меня нет изъянов. И мне не надо заниматься нравственным самолечением, загонять внутрь свои пороки. Я могу позволить себе то, что Монтескьё именуется грубостью, дать волю якобы имеющимся у меня недостаткам, дать им проявиться, ведь речь идет, собственно, не о недостатках, а об образе жизни, о качествах моего характера.

Демократы рассуждают как подростки, как большинство женщин. Как все люди, пытающиеся мыслить, но мыслящие неглубоко и редко, они знают свои недостатки, но принимают их за особенности характера, что в принципе вполне естественно. Наши изъяны — наиболее выпуклые черты нашего характера, и если он нам по душе, значит, мы дорожим и любимся и своими недостатками. Вежливость же, маскирующая наши изъяны, невыносима для человека, который страстно желает показать то, что ему самому в себе представляется заслуживающим внимания и уважения. Потому-то мы, как правило, не исправляем наши недостатки, полагая их, скорее, достоинствами. Необходимость скрывать свои недостатки кажется форменным тиранством, причем совершенно бессмысленным.

Итак, демократы уверены, во-первых, в том, что все люди равны и что недостатков, в смысле изъянов, вовсе не существует, во-вторых, в том, что так называемые недостатки не более чем примечательные черты натуры. Отсюда делается вывод, что все разговоры о недостатках основаны на предрассудках, что пороки придуманы всяческого рода интриганами, священнослужителями, аристократами, власть имущими, пра-

вителями, чтобы внушить бедному люду мысль о смирении для достижения своих коварных целей. Это своеобразная узда, тем более эффективная, что налагается она не извне, а изнутри. Взывая к совести оппонентов, власть парализует их волю к сопротивлению, порождает чувство приниженности, приводящее к покорности. Вежливость как средство подавления своих недостатков представляется, следовательно, уловкой аристократов и орудием тиранов.

Поэтому расцветшая в стране пышным цветом демократия превратила французов, естественных поборников хороших манер, в форменных дикарей. Тем самым утверждалось отсутствие какого бы то ни было превосходства одних над другими и совершенство человеческой природы в любом виде и любом обличье. Грубость демократична.

10

Профессиональные навыки

Пренебрежительное отношение к компетентности заходит слишком далеко даже в сугубо специальных областях — в том, что касается профессиональных навыков. Известна фраза, может быть легендарная, председателя суда, обратившегося к адвокату, скрупулезно разбиравшему какой-то правовой вопрос: «Сударь, мы здесь для того, чтобы заниматься делом, а не разглагольствовать о праве». Он вовсе не шутил, он хотел сказать: «Судебные решения нынче принимают не с точки зрения права, а исходя из справедливости и здравого смысла. Оставим дотошные изыскания и юридические закавыки кабинетным ученым, а вы уж тут не стройте из себя завязанного правоведа». В прежние времена такая позиция даже в смягченном мною виде шокировала бы работников судебного ведомства, теперь это обычный случай. То есть демократические представления внедрились и сюда.

Как бы ни пытались сегодня судебские чиновники сохранить корпоративный дух, они не связаны уже ни текстом законов, ни судебной практикой — традицией, закреплённой письменно. Они не просто чиновники, видящие свой долг в подчинении власти, они чиновники от демократии — афинские гелиасты. Судят они, соглашаясь лишь со своей совестью, они чувствуют себя не членами ученого сословия, претворяющими в жизнь его решения, а носителями истины, подобно остальным своим коллегам.

Несколько экзотичным, по правде говоря, но показательным примером такого умонастроения может послужить один судья, присвоивший себе право не судить по закону, а самому его сочинять, руководствуясь в своих решениях либо общими идеями, то есть теми из общепринятых идей, которые он сам разделял, либо завтрашними нормами — нормами, которые, по его мнению, будут приняты *впоследствии*. В общем, судил он согласно кодексу будущего.

Знаменательно не то, что столь странный судья существовал в природе, а то, что его принимали всерьёз очень многие люди, в том числе и якобы просвещённые. Он пользовался большой популярностью, — значительная часть публики считала его «хорошим судьей» — вот что симптоматично.

И ещё один, гораздо чаще встречающийся симптом. Может быть, худший вид некомпетентности — это когда компетентный человек полагает себя некомпетентным. По крайней мере в уголовных процессах так настроено большинство судебных чиновников.

В этом смысле очень любопытной представляется брошюра одного провинциального судьи, Марселя Летранже, оза-

главленная «Профессиональная привычка» (1909). Эта брошюра о многом говорит. По ней ясно видно, что сегодняшние судьи и прокуроры не верят прежде всего в самих себя и страшатся общественного мнения (газет, кухонных сплетен, всяческих лож, политических кружков). Они знают или думают, что знают, будто продвижение по службе им обеспечит не строгость, как прежде, а снисходительность.

Постоянно видя перед собой сплотившиеся против него силы — публику, почти всегда настроенную в пользу обвиняемого, местную прессу, прессу столичную, судебных медиков, почти всех обвиняемых причисляющих к невменяемым, постоянно опасаясь судебной ошибки (судейская ошибка стала своего рода идеей фикс значительной части общества, готовой в каждом осужденном видеть невинную жертву), — прокурор не отваживается уже требовать сурового приговора, а судья — проводить жесткое дознание.

Да, есть исключения, но они вызывают такое удивление, такое противодействие, что лишь подчеркивают, до какой степени они необычны и выходят за рамки теперешних правил и обычаев.

Чаще же прокурор в своей обвинительной речи проявляет робость, сдержанность, мягкость, недоговаривает, дает повод для снисходительности к подсудимому, демонстрирует неуверенность.

Он требует его голову и боится её получить.

По сути, и прокурор, и судья хотят, чтобы подсудимого оправдали. Тогда всё, с плеч долой, дело будет закрыто, его не возобновят, о нем не вспомнят. В противном случае кто-нибудь

заподозрит, что суд не разобрался в обстоятельствах, дело снова поднимут — из злопыхательства, по политическим соображениям или просто забавы ради, и оно, словно фантом, десять-пятнадцать лет не будет давать покоя судейскому чиновнику.

Г-н Летранже рассказывает по этому поводу одну типичную историю. Я наводил справки в провинции, разговаривал со многими людьми и с полной уверенностью могу утверждать, что это абсолютно правдивая история — одна из тысячи подобных.

Девятнадцатилетний браконьер изнасиловал и затем задушил в лесу крестьянку, мать семейства. Судейской ошибки или обвинений по поводу судейской ошибки, на которые публика в наши дни такая падкая, опасаться не приходилось. Подсудимого без труда заставили признаться. Это важный момент. Во Франции любой обвинительный приговор, который не основывается на признании осужденного, уже судебная ошибка. Если есть признание, вопрос о судебной ошибке с повестки дня снимается, несмотря на возможность самооговора. Кажется, дело будет завершено без особых помех.

Судейские, однако, пуще всего боятся приговорить кого-либо к смерти. Преступление отвратительное, особенно в глазах присяжных заседателей из сельской местности, чьи жены и дочери вынуждены часто отлучаться из деревни. Был там еще совершенно обезумевший муж жертвы, ожесточенно требовавший мести и расхваливавший свою жену. Он привел сына, который безутешно рыдал и кричал, пока отец давал показания. Председатель суда и прокурор совсем приуныли.

«Я сделал всё, что мог, — сказал председатель суда прокурору. — Налегал на то, что подсудимый такой юный, что ему девятнадцать. Нет, я сделал всё, что мог».

«И я сделал что мог, — ответил прокурор. — Я вообще не упомянул о наказании. Ни единого слова не сказал. Просто обвинял. Не мог же я его защищать. Я сделал всё, что было в моих силах».

По окончании судебного заседания капитан жандармерии подбадривает этих господ: «Да бросьте. Ему и двадцати нет. И на суде он хорошо держался. Паренек симпатичный. Наверняка его не казнят. Смертная казнь здесь, в нашем мирном городишке! Да не приговорят его к смерти».

Его и не приговорили. Суд присяжных нашел смягчающие обстоятельства. У прокурора с судьей от сердца отлегло.

Цифры подтверждают выводы г-на Летранже. Преступники, способные вызвать жалость, матери-детоубийцы, женщины, совершившие аборт, подвергаются преследованию всё реже. А те, кто подвергается, часто остаются безнаказанными, несмотря на всю очевидность преступления. В среднем за последнюю дюжину лет из ста таких дел двадцать шесть заканчиваются оправдательным приговором. Современные судьи снисходительны донельзя.

В общем, судья или не уверен в своей компетентности, или для своего душевного спокойствия ею пренебрегает. Душевное спокойствие заботит его больше, чем безопасность общества. От судов скоро сохранится лишь фасад, внушительный, но мало кого пугающий.

Серьезный симптом уже то, что толпа не верит в самую возможность принятия целительных суровых мер наказания. Над преступником, схваченным на месте преступления, нередко устраивают самосуд. И всё потому, что знают: если его не казнить сразу, то, скорее всего, он так и выйдет сухим из воды.

— Но та же самая толпа, вернее, её представители в суде присяжных часто, почти всегда проявляют мягкость.

— Да, потому что между преступлением и заседанием суда проходит шесть месяцев, и если в момент преступления толпа сочувствует несчастной жертве, то в момент суда симпатии уже на стороне несчастного обвиняемого. При этом самосуд, по существу, противовес чрезмерной снисходительности судей и присяжных заседателей.

Само духовенство, значительно более любого другого сословия приверженное традиции, приобретает демократические черты, так что оно учит уже не догматике и таинствам, а всё сводит к одной лишь морали. Тем самым оно снисходит к малым сим, чтобы сподручнее было держать их в повиновении. Разумеется, в этом есть определенный смысл. Вот только, пренебрегая вопросами догматики и толкованием таинств, священнослужители перестают быть членами ученого корпуса и более не внушают уважения. Церковные авторитеты уподобляются любому, кто вздумает проповедовать мораль, иллюстрируя свои выступления примерами из истории, в том числе истории религий, не хуже священника. И люди начинают задумываться: «На что мне сдались священники, не достаточно ли будет простого учителя нравственности?»

Этот американизм не столь опасен и даже не столь плох в самой Америке, где светских проповедников морали не так много. Но во Франции, Италии, Бельгии, где их пруд пруди, ситуация возникает угрожающая.

В целом основной порок современных специалистов в самых различных областях заключается в том, что каждый думает,

будто ловкость и сноровка намного важнее знаний, будто практической сметки достаточно и без умственного багажа. Так полагают те, кто отправляет свои профессиональные обязанности, и публике это кажется само собой разумеющимся. Таким образом реализуется в действительности то равенство, к которому инстинктивно тяготеет демократический режим. Компетентное отношение к делу он не уважает, да скоро и уважать станет нечего: оно и сейчас большая редкость, а через какое-то время вовсе исчезнет. Тогда не будет больше разницы между судьями и сторонами в судебном процессе, между паствой и священнослужителями, между больными и врачами. Пренебрежение компетентностью постепенно уничтожает компетентность, и компетентность, отрицая себя, не отличается уже и сама от презрения, которое к ней испытывают. В конце концов приходят даже к большему согласию, чем требовалось.

11

Испробованные средства

Средств исправить этот врожденный порок демократии искали многие, искали целенаправленно, в том числе и сами демократы. Так, в частности, сохранили несколько аристократических в определенном смысле заведений, убежищ, как представлялось, компетентности. Сохранили сенат, который избирается путем всеобщего, хотя и двухступенчатого голосования. Сохранили парламент (сенат и палату депутатов), члены которого — своего рода элита, пусть непостоянная по составу и всё время обновляющаяся, но элита, препятствующая прямому и непосредственному народному правлению.

Разумеется, какой-то эффект подобные меры дают, однако эффект этот ничтожно мал, так как демократический режим запросто сводит их на нет. В своем стремлении нейтрализовать людей компетентных режим превращает палату депутатов за редким исключением в нечто себе подобное — и

в том, что касается поверхностных знаний, и в том, что касается неистовства страстей. В результате создается впечатление, что толпа правит государством по своему усмотрению, прямо и непосредственно, как если бы она совершала это путем плебисцита.

Примерно то же самое, но не напрямую сотворили и с сенатом. Сенат избирается делегатами путем всеобщего голосования, но сами делегаты в массе своей избираются не так. Каждый департамент, к примеру, избирает четыреста-пятьсот делегатов через муниципальных советников коммуны, а эти последние, особенно на селе, значительно более многочисленные и полностью определяющие результаты выборов, сами по ряду причин если не целиком, то в значительной степени зависят от префектов. Получается, что сенат избирается префектами, а значит, властями, как во времена первой и второй империй. Так, собственно, и было задумано автором конституции, который из соображений сугубо властных хотел, чтобы центр оказывал решающее влияние на выборы сенаторов. Делалось это для своей партии, но в выигрыше оказались и другие — *vos non vobis**.

Всем хорошо известно, что во Франции депутат от оппозиции, уверенно представляющий свой округ, может избираться до бесконечности. Однако, если ему вздумается стать сенатором, он обязан подстроиться под власть, смягчить, ослабить свою позицию, иначе ему придется расстаться со своими амбициями. В сенате чрезмерно мощной и активной группы противников действующей власти быть не должно.

* Так вы работаете, но не для вас (*лат.*). Строка, приписываемая Вергилию. (*Прим. ред.*)

Получается, как если бы сенаторов выбирали всеобщим голосованием.

Всеобщим голосованием избирается палата депутатов, та назначает правительство, которое в свою очередь избирает почти всех сенаторов. Сенат, следовательно, крайне слабое средство против засилья демократии, и если такова была задумка самих демократов, то они своего добились.

Если мы хотим образовать как можно более компетентную верхнюю палату, независимую от центральной власти и относительно независимую от мнения большинства избирателей, её члены должны назначаться высшими учредительными органами с использованием, как мне кажется, института всеобщего голосования, но по следующей схеме: вся страна, разделенная для удобства на пять-шесть больших областей, избирает пять-шесть тысяч делегатов, которые потом избирают три сотни сенаторов. Тогда государство не сумеет вмешаться в этот процесс, а толпа не сумеет наштамповать своих представителей по своему образу и подобию. Будет образована подлинная элита, наделенная компетентностью, какая только возможна в данной стране.

В действительности дело обстоит с точностью до наоборот. Французский сенат на поверку оказывается никуда не годным средством против демократии.

Он сам представляет сельских демократов, ведомых и направляемых, причем довольно решительно, демократическими властями.

Другое средство, которое изыскивалось так же целенаправленно, как и предыдущее, — обеспечение гарантий пригодности

чиновников к проводимой работе на основании экзаменов и на конкурсной основе. Экзамены и конкурсы при начале карьеры, тщательно подготовленные, сложные, позволяющие претендентам проявить самые различные качества, дают возможность назначить на ответственную должность наиболее достойных и исключить всякий блат.

— И вы называете это средством против засилья демократии? Да ведь это самая что ни на есть демократическая процедура.

— Нет, позвольте. Это антимонархическое средство при монархическом режиме, антиаристократическое — при аристократическом, а так как у нас режим демократический, то и средство это антидемократическое. Конкурсная система — это прежде всего система кооптации. Когда я предлагал, чтобы судейских чиновников назначали судейские чиновники, то есть чтобы судейские чиновники выбирали членов кассационного суда, а те — чиновников, мое предложение сочли парадоксальным, как всегда бывает, когда высказывают нечто непривычное. Однако я предложил применить к работникам судебного ведомства, несколько расширяя рамки, то, что давно делают применительно к функционерам вообще. В определенной, и немалой, степени государственные служащие набираются именно путем кооптации.

Нет, государственные служащие сами не выбирают своих коллег, но они не подпускают к должностям кандидатов, которые почему-либо пришлись им не по душе. Экзамены суть способ отмести людей некомпетентных. В когорту должностных лиц получают доступ лишь те, кто будет назначен властями, но власти смогут выбрать лишь из тех, кого мы, чиновники, предварительно сочтем достойными. А это и есть кооптация.

Конкурсная комиссия военного училища Сен-Сир, принимая абитуриента, дает ему добро на офицерскую карьеру. Конкурсная комиссия, принимая абитуриента в Политехническую школу, дает ему добро на карьеру чиновника или инженера. Отказывая абитуриенту в приеме, конкурсная комиссия посягает на верховную власть народа, так как запрещает этой самой власти сделать из данного молодого человека офицера, чиновника или инженера. Налицо кооптация в чистом виде — гарантия компетентности, преграда для некомпетентных работников и для тех, кто пытается получить должность по блату, что также может служить лазейкой для людей несведущих.

Ясно, что кооптация носит тут весьма ограниченный характер. Она действительна лишь при начале карьеры. После того как чиновники допустили кого-либо в свои ряды, дальнейшая карьера этого человека, его продвижение по службе или, наоборот, увольнение за редким исключением полностью зависит от центральной власти. Кооптация носит характер предварительного отбора. Отсев осуществляется единожды, и тот, кого не отсеяли, переходит под эгиду государства, то есть демократии, и его карьера зависит уже от политической конъюнктуры, что может приводить и приводит ко всем тем злоупотреблениям, о которых мы говорили раньше. Следует всё же отметить, что есть некое средство, по крайней мере придумано и сохранено некое средство против всемогущества людей некомпетентных, против их продвижения во власть.

Вот только эта профилактическая система из ряда вон плохо организована, и «одобрить» её можно лишь «в переиначенном виде», как говаривал Буало.

У нас в стране экзамены зиждутся на противоречии, на смешении понятий «знание» и «компетентность». Экзаменаторы со всею добросовестностью пытаются определить компетентность экзаменуемого, оценивая его знания, но они заблуждаются. От экзаменуемого, от конкурсанта требуется едва ли не одно: чтобы он знал больше других. Поэтому одно из самых тяжелых занятий в наше время — подготовка к экзаменам.

Подготовка к экзаменам — это заглывание знаний, сваливание всего в одну кучу, зубрежка, в результате человек, возможно очень одаренный, обрекается на пассивность, причем в возрасте, когда интеллектуальная активность должна достигать наивысшего напряжения. После того как молодой человек потратит на это пять, восемь, десять лет, из-за переутомления у него на всю жизнь вырабатываются отвращение к интеллектуальной деятельности и умственная беспомощность.

Я убедился на собственном примере — если позволительно будет говорить о самом себе, — что если я чего-то достиг за время от двадцати пяти до шестидесяти трех лет, то лишь потому, что не очень блистал на экзаменах и конкурсах. Я интересовался многими вещами, не только тем, что требуется по программе, и обязательные предметы нередко страдали. Куда-то меня принимали, но чаще отсеивали. К двадцати шести годам я отставал от сверстников, зато я не изнемогал от усталости и не пресытился интеллектуальной работой. Конечно, некоторые из моих товарищей, блистательно сдававшие все экзамены, трудились до шестидесяти лет ничуть не хуже меня, но это, скорее, исключение из правила.

Странное дело, результаты, пусть не катастрофические, но в целом довольно скверные, подобной экзаменационной

системы, вовсе не приводят к отказу от нее — это было бы чудесно, — наоборот, её еще больше усложняют, делают еще запутанней. Экзамены по юридическим наукам, конкурсы на замещение вакантных должностей на факультете права, конкурсы для студентов-медиков требуют значительно большей подготовки, чем прежде, больших физических, но отнюдь не интеллектуальных усилий. Осмелюсь даже утверждать, что успешная сдача экзаменов свидетельствует сегодня лишь о здоровье экзаменовавшегося, если только он не подорвал его во время подготовки.

Привожу пример из хорошо знакомой мне области. Для того чтобы стать именитым профессором, надо окончить среднее учебное заведение, стать бакалавром, кандидатом наук, пройти конкурс на замещение должности преподавателя высшего учебного заведения, получить докторскую степень. Целый набор. Всего надо успешно миновать десять экзаменов и конкурсов: два — для получения степени бакалавра на первой стадии, два — на второй, два — для получения звания кандидата наук, два — при замещении вакансии, два — при получении звания доктора наук. Но и этого кому-то показалось мало. Дело в том, что между второй парой экзаменов и третьей, между третьей и четвертой проходит обычно два года, а между четвертой и пятой — и вовсе три или четыре. Как же так! До конкурса кандидат наук на два года будет предоставлен самому себе. А первый год вообще будет работать один, не подчиняясь никакой программе, свободно. Будет делать, что пожелает, вместо того чтобы готовиться к очередному экзамену. Ужас, да и только! Молодой человек, чего доброго, отдохнет, переведет дух, а то и вообще сам выберет область приложения сво-

их сил в соответствии с личными качествами и пристрастиями. Как только начинают принимать решения самостоятельно, становятся личностью. Такое нельзя допустить.

Оттого и придумали промежуточный экзамен для кандидата наук, еще не участвующего в конкурсе, экзамен по теме, надо признать, которую он выбрал сам. Однако преподаватели, с которыми он обязан консультироваться, должны её утвердить. Цель экзамена, по крайней мере его результат, — в это опасное время не дать личности ученика развиваться, окрепнуть, проявить себя.

По экзамену каждый год в течение десяти лет. Так относится современный профессор к будущему коллеге. Еще решили устроить экзамен через год после получения степени бакалавра и придумали *свидетельство о промежуточном средне-высшем образовании*. Между конкурсом на должность преподавателя вуза и защитой докторской диссертации четыре года, тут тоже устроили целых три дополнительных проверки, чтобы проследить, какую часть работы выполнил будущий доктор, помочь ему и не дать трудиться самостоятельно. Первая проверка касается «Библиографии к докторской диссертации», вторая — «Методологии диссертации», третья — «Подготовки к защите». И только затем следует защита.

Таким образом, соискатель получает что хотел, промаявшись с семнадцати до двадцати семи, а то и тридцати лет, пройдя шестнадцать экзаменов и конкурсов. Он никогда не работает в одиночку. Весь двенадцатимесячный срок между экзаменами он работает строго по программе с целью задобрить то одного, то другого преподавателя, подстраиваясь, подлаживаясь под их взгляды, под их мнения, идеи, причуды, пользуясь их под-

держкой, двигаясь по заданному ими направлению. Соискатель не знает, не должен и не хочет знать — такое знание опасно, — привыкает не знать, что думает он сам, что он представляет собой, что ищет и желает найти и кем бы он сам мог стать. Он займется всем этим после тридцати.

Личности не дают проявиться до того самого момента, после которого становится слишком поздно, чтобы она смогла проявиться, — таково правило.

Откуда же это неистовство? Откуда эта *экзаменомания*? Как вы и подумали, прежде всего это просто *данденомания*. Данден упрямо твердил: «Хочу судить, и всё тут». Профессор с определенного возраста очень любит экзаменовать других. Именно экзаменовать, а не учить. И это естественно: когда он преподает, другие оценивают его, когда экзаменует, он оценивает других. Второе всегда предпочтительнее. Пахать изо дня в день и знать, что тебя экзаменуют, оценивают, обсуждают, проверяют, что над тобой слегка подтрунивает аудитория — с годами это становится всё обременительнее. А вот экзаменовать других, восседать в качестве судьи, ничего не создавать, только критиковать, вмешиваться, лишь когда испытуемый сбивается, ставить ему это в вину, более того, весь год заставлять другого испытывать целительный страх перед надвигающимся экзаменом, взывать к вам о помощи, страх прогневить вас, очень приятно и с лихвой компенсирует тяготы профессии. Экзаменомания наполовину объясняется боязнью, когда тебя экзаменуют, наполовину — радостью, когда экзаменуешь ты.

Всё это так. Но есть и другая причина. Любителей принимать экзамены сильно тревожит раннее рождение и развитие самобытного ума. Они боятся самоучек, боятся тех, кто пре-

тендует на независимость мышления, занимается самостоятельными поисками в двадцать пять лет. Им хочется опекать молодое дарование как можно дольше, держа его на помочах до тех пор — позволю себе пошутить, — пока его ноги в конец не атрофируются. Определенный смысл в этом есть. Самоучка, сознательно выбравший такой путь, чаще всего горделив и тщеславен и, желая мыслить независимо, презирает чужие идеи. Но правда и то, что именно среди самоучек находятся умы решительные, смело штурмующие прежде недоступные области знаний. Вопрос в том, что лучше: смотря сквозь пальцы на дурных самоучек, сохранять и пестовать перспективных или, ставя препоны на пути худших, одновременно губить лучших? Я обеими руками за первое решение. Лучше постепенно давать дорогу всем, памятуя, что оригиналы дурного пошиба с пути всё равно собьются, и пусть. Умы же действительно самобытные, развиваясь свободно, проявят себя в полной мере.

Но тут — обратите внимание, как дух демократии проникает повсюду, — встает вопрос о численном соотношении. «В десять раз больше оригинальничающих, — возражают мне, — которых мы спасаем от них самих, принуждая к порядку, чем людей действительно самобытных, которым мы, возможно, и подрезаем крылья».

В вещах духовных количество никакого значения не имеет, отвечаю я. Один загубленный самородок не могут уравновесить десять дураков, которым помешали сделаться еще дурее. Один самородок во сто крат перекроет вред от десяти дураков, получивших относительную свободу.

Ницше очень хорошо сказал: «Современное образование заключается в том, чтобы душить исключение в угоду правилу».

и направлять умы по привычной колее». Современное образование поступает опрометчиво. Я не говорю, что надо делать наоборот, — отнюдь. Не его задача — заботиться об исключительном и служить ему повивальной бабкой. Исключительное рождается само и не нуждается в потворстве. Но современному образованию не следует страшиться исключительности и всеми правдами и неправдами — чаще всего неправдами — выкорчевывать в учениках то, что не подпадает под общую норму.

Образование должно получать от посредственности всё, что только возможно, но должно и в полной мере уважать самобытность. Ни в коем случае ему не следует выдавать посредственность за самобытность, не следует и самобытность низводить до посредственности.

Что для этого нужно делать? Подумать, прежде чем вмешиваться, а иногда и вовсе не вмешиваться.

Сегодня до невмешательства и даже до очень осторожного вмешательства очень и очень далеко. Так, всё, что придумали для обеспечения компетентности, на деле способствует её полному искоренению. Успешно прошедшие экзаменационное сито — по сути, жертвы экзаменационной системы — обладают знаниями, хорошо подготовлены, отлично натасканы, но они некомпетентны в интеллектуальном и — часто, хотя с годами всё реже, — моральном отношении.

С точки зрения интеллектуальной они зачастую не способны на инициативу. Активная работа ума у них приглушена, задушена, задавлена. Если раньше они её демонстрировали, то теперь нет. Они до конца своих дней останутся орудиями чужой воли. Их многому научили, но прежде всего научили интеллектуальному послушанию. Их ум находится в подчинении.

Они — идеальные шестеренки, хорошо прилаженные, отменного качества приводные ремни. «Разница между романом и драмой, — говорил Брюнетьер, — в том, что в драме герой действует сам, в романе же его поведение определяют события». Не знаю, так ли это. А вот о чиновнике можно сказать, что чаще всего сам он не думает, думают за него.

Они некомпетентны — хотя реже — и в моральном отношении. Постоянно находясь в интеллектуальной зависимости, они приучаются и к зависимости моральной, поэтому большинство из них не склонны к самостоятельности. И посмотрите, как всё хорошо — слишком даже хорошо — сходится. Предварительная кооптация чиновников, о которой я говорил, происходит лишь в начале карьеры. Потом должностное лицо полностью зависит от властей. Но именно к полной зависимости от руководителя человека готовят в течение десяти лет обучения. Славно получается. Даже чересчур. Было бы неплохо, если получивший образование сохранил бы хоть малую толику своеобразия, хоть какие-то особенные черты характера.

Искали очень добросовестно, с большим рвением и другое средство от изъянов демократического режима, от порождаемой им некомпетентности. Говорили: «Пусть толпа не обладает знаниями, давайте её просветим. Распространение начального обучения позволит преодолеть все трудности, решить все вопросы».

«Как же так, — шутили аристократы, — вы противоречите сами себе. Ведь вы, демократы, приписываете невежественной толпе политическое чутье, <политическую мудрость>, как говаривали мы когда-то. Зачем тогда её просвещать, лишать

главного преимущества?» Толпа и в нынешнем своем состоянии намного превосходит аристократов, ответствовали демократы, а если её слегка подучить, ей вообще цены не будет. Так а *fortiori** снимаются все противоречия.

И демократы рьяно бросились наставлять народ. В итоге народ сегодня значительно более просвещен, нежели прежде, и я вижу тут несомненное благо. Однако народ при этом впитал в себя множество ложных идей, и вот здесь радоваться нечему.

Государства древности знали демагогов — ораторов, которые доводили недостатки народа до абсурда, приукрашивая их, льстя толпе. У современной демократии также есть свои демагоги — просветители народа. Они выходцы из народа и гордятся этим (в чем, разумеется, их никто не упрекнет), они испытывают определенное недоверие ко всему, что исходит не из народа. Они тем более связаны с народом, что в интеллектуальном отношении им принадлежит первенство среди народа — вне народа они как бы люди второго сорта. И ведь больше любишь не тех, с кем ты на равных, а тех, над кем ты возвышаешься. Поэтому наставники народа — демократы до мозга костей.

До сих пор придраться не к чему. Но демократы они в узком смысле слова, так как образованы лишь наполовину или, вернее (кто из нас может похвастать, что обучен всему или хотя бы многому?), получили лишь начатки образования. А с начальным образованием они хоть и способны иметь одну мысль, но на вторую их уже никак не хватает. Человек, не продвинувшийся дальше азов образования, одержим, как прави-

* С тем бóльшим основанием (*лат.*).

ло, одной-единственной идеей. Сомнения ему неведомы. Мудрый сомневается часто, невежда редко, безумец не сомневается никогда. Одержимый единственной идеей практически не способен воспринимать какие-либо суждения, идущие с ней вразрез. Один индийский писатель верно сказал: «Образованного человека убедить можно; можно, хотя труднее, убедить и невежду; недоучке не докажешь ничего».

Народного наставника не убедить. Соглашаясь с ним, вы подтверждаете его правоту. Оспаривая его мнение, подтверждаете еще больше. Он сам пленник своих теорий. Зачастую он толком не владеет своими идеями. Зато идеи овладевают им. Он носится с ними, как священник со своей религией. Для него они суть истина, они прекрасны, за них подвергали преследованиям, они должны спасти мир, наконец. Такой человек не против того, чтобы они победили, но больше всего он хочет пожертвовать ради них жизнью.

Он убежденный демократ, и демократ сентиментальный. Его убеждения строятся на его чувствах, а чувства чудесным образом придают новый импульс убеждениям. Эти последние не одолеет никакое возражение, чувства же настраивают его против любого оппонента. Для него любой недемократ не прав по определению, более того, отвратителен. Аристократ отстоит от него так далеко, как заблуждение от истины, зло от добра, бесчестие от чести. Народный наставник — паладин демократии.

У него одна-единственная мысль в голове, потому он человек недалекий, а раз так, он во всем следует логике, логикой злоупотребляет, доходит с ней до абсурда. Если какой-нибудь идее не противопоставить другие, если они даже не принимаются в расчет, она лезет напролом, ни о чем не заботясь. Так и

народный наставник доводит до логического завершения все демократические идеи.

«Рассудительно рассуждая», он развивает эти идеи, причем считает естественным и даже благотворным развить их до логического конца и принять все вытекающие из этого последствия. Всё это хорошо в принципе, хорошо само по себе, но надо быть Монтескьё, чтобы знать, что злоупотребление основным принципом губит благие установления.

В итоге наставник выводит логические следствия из двух главных демократических положений — власти народа и равенства — и приходит к следующим выводам.

Единственная законная власть — власть народа. Да, личные свободы, свободы союзов и организаций существовать могут, но только те, на которые народ дает добро. Свободы лишь терпят. Человек может думать, как ему заблагорассудится, говорить на свой лад, писать что хочет, действовать по своему усмотрению, но лишь в рамках, дозволенных народом. Ведь если бы ограничения, полные или даже частичные, налагала другая какая-нибудь власть, народ оказался бы отстраненным от кормила государства.

Попросту говоря, свобода — это право делать всё что угодно, но в пределах закона. А кто устанавливает закон? Народ. Следовательно, свобода — это право делать то, что угодно народу. И ничего больше. Нарушение этого принципа означает, что господству народа приходит конец, наступает господство личности.

— Но что это за свобода, когда делаешь то, что кто-то позволяет?! Такая была и при Людовике XIV. Это не свобода, а одно название.

— Пусть так. Но не может быть свободы, если её не допускает закон. Вы хотите быть свободным вопреки закону?

— Но и закон бывает тираническим, когда он несправедлив.

— Закон вправе быть несправедливым. Иначе власть народа будет неполной, а этого нельзя допустить.

— Но для того, чтобы гарантировать те или иные личные свободы, власть народа можно ограничить основными законами, предусмотренными конституцией.

— Это свяжет народу руки, упразднит народную власть. Народ нельзя ущемлять. Власть народа должна быть незыблема, неприкосновенна.

— Значит, никаких личных свобод?

— Только дозволенные народом.

— Никаких свобод для союзов и организаций?

— Таких свобод должно быть еще меньше. Союзы и организации сами по себе ограничивают власть народа. У них свои законы, а это с демократической точки зрения бессмыслица, нечто чудовищное, противоестественное. Свободы и организации ограничивают власть народа, подобно свободному городу в государстве или месту, где человек имеет право на убежище. Они ущемляют, оттесняют народ, загораживают ему доступ наверх. Это государство в государстве. Где есть сообщества, там терпит урон единый народный организм. Представьте себе животное, которое находится внутри более крупного животного, живет независимо от последнего, за его счет. Может существовать лишь одно сообщество — сообщество, объединяющее в себе весь народ, в противном случае власть народа будет лимитирована, сведена на нет. Так что никакой свободы союзам и организациям.

Сохраняются лишь сообщества, разрешенные народом, такие сообщества, которые всегда можно распустить, разогнать, запретить. Поступить иначе — значит отречься от власти. Народ не может отречься от власти.

— Но есть по крайней мере одно в каком-то смысле священное сообщество, на которое власть народа не распространяется, — семья. Над детьми главенствует отец. Он воспитывает и направляет их по своему разумению до тех пор, пока они не начнут взрослую жизнь.

— Да нет же! Это ведь еще одно ограничение власти народа. Ребенок вовсе не принадлежит отцу, иначе власть народа упразднилась бы на пороге семейного дома, а значит, упразднилась бы везде. Ребенок, как и взрослый, принадлежит народу. Принадлежит в том смысле, что он не должен входить в организации, взгляды которых отличаются от взглядов народа или тем более противоречат им. Есть даже опасность, что за целых двадцать лет будущий гражданин не приобщится к народному духу, останется вне общества. Вообразите себе, что пять-шесть пчел воспитываются вне улья, не знают его правил, законов, установлений. А если таких пчел сотни и сотни? Улей погибнет.

Власть народа прежде всего должна распространяться на семью, не следует признавать свободу семейного сообщества, следует разрушить семейную ячейку. Родители пусть будут довольны тем, что им позволят обнять свое чадо. Право воспитывать детей в духе, вполне возможно противоположном родительскому, надо предоставить народу, чья власть в этом отношении, вероятно, даже больше, чем в любом другом, должна быть абсолютной, потому что на кон тут поставлено слишком многое.

Именно это на основании неопровержимой, как мне представляется, логики и выводит наставник из основного постулата народной власти.

Из принципа равенства он выводит следующее: «Все люди одинаковы по природе и равны перед законом». Подразумевается, что для торжества справедливости все люди должны быть одинаковы по природе и равны перед законом.

Однако люди не равны перед законом и по природным качествам не одинаковы. Значит, надо, чтобы они таковыми стали.

Люди не равны перед законом. Вернее, равны лишь по видимости, а на самом деле нет. Даже если предположить, что поставленные вершить правосудие судейские чиновники в высшей степени неподкупны, богатый человек, который в состоянии щедро оплатить услуги стряпчих, адвокатов, свидетелей и который благодаря своему влиянию наводит страх на всех, кто мог бы дать против него показания, перед законом вовсе не равен бедняку.

Еще менее они равны перед обществом, то есть перед всей совокупностью общественных сил. Богач — человек влиятельный, человек со связями, от него никто напрямую не зависит, но ему не отваживаются возражать, противоречить, противиться. Между богатым и бедным, якобы равными перед законом, та же разница, что между тем, кто командует, и тем, кто вынужден подчиняться. *Действительное* равенство перед обществом и даже перед законом возникнет лишь в случае, если не будет ни бедных, ни богатых.

Однако богатые и бедные будут всегда, пока существует институт наследства. Значит, его нужно отменить.

Но и тогда богатые и бедные останутся. Быстро наживший себе состояние будет могущественнее простого смертного, и, заметьте, даже если институт наследства упразднится, его сын при жизни отца сам будет обладать влиянием и преимуществами, обусловленные происхождением, сохранятся даже без наследства, так что ни о каком равенстве говорить не придется.

Есть только одно средство всех уравнивать — отменить собственность и право на её приобретение. Единственный режим, способный это обеспечить, — режим коммунистический, коллективистский. Коллективистский строй не есть что-то необычное, он воплощает собой равенство, а оно, в свою очередь, олицетворяет коллективистский строй, иначе это лишь видимость равенства, псевдоравенство. Убежденный и искренний приверженец идеи равенства по здравом размышлении не может не стать коллективистом. Бональд очень остроумно отмечал: «Знаете, кто такой деист? Человек, который недостаточно долго жил, чтобы стать атеистом». От себя перефразируем: «Знаете, кто такой демократ-антиколлективист? Это тот, кто недостаточно долго жил, чтобы стать коллективистом, или тот, кто прожил долгую жизнь, не размышляя о том и не видя того, что содержится в его идеях».

— Но коллективизм — это химера. Утопия. Нечто невозможное.

— Конечно же, он невозможен в том смысле, что в стране, где победили эти идеи, будет подорвано стремление действовать. Никто не станет прилагать усилий, чтобы улучшить свое положение, да его и в принципе нельзя было бы улучшить. Страна полностью превратится в одно из тех «стоячих болот», о которых говорил один наш министр. Все станут чиновниками,

причем идеальными чиновниками по определению Гонкуров: «Под хорошим чиновником я подразумеваю такого, который соединяет в себе лень с пунктуальностью», — определению, так сказать, не подлежащему пересмотру. В итоге лет через десять государство, построенное по подобному принципу, покорят какие-нибудь в меру честолюбивые соседи.

Тут и спорить не о чем. Но что это доказывает? Что коллективистский строй возможен, лишь если он будет установлен сразу везде. А установить его сразу везде можно, лишь если не будет отдельных стран, если ни у кого не будет родины. Значит, не следует устанавливать такой строй до упразднения понятия родины, в противном случае те страны, где этого не произойдет, докажут свое превосходство. Выходит, очередность действий должна быть следующая: сначала нужно упразднить отечества, и только потом устанавливать коллективистский строй.

К тому же если народы естественным образом организуют свое бытие по принципу, отличному от того, который существует в природе, если у них сам собой возобладает иерархический, аристократический режим, если у них появятся начальники и подчиненные, власть имущие и низшие по рангу, то образуется как бы укрепленный лагерь, и каждый народ чувствует себя таким лагерем. Но если каждый чувствует это, то он чувствует и знает, что и другие народы также выстроили себе укрепления. Если этого нет, народ, естественно, будет следовать эгалитарному принципу. Хотя в природе и не существует равенства, она к нему стремится в том смысле, что создает больше, намного больше равноправных существ, нежели начальствующих.

Равенство предполагает упразднение института наследства и равную собственность. Равная собственность делает неизбежным коллективистский строй, а последний может быть установлен лишь при отказе от отечеств. Мы за равенство, следовательно, коллективисты, а значит, антипатриоты.

Так совершенно логично и, на мой взгляд, неопровержимо рассуждает большинство наставников, которых заботят не факты, а верность основным положениям демократии. Так они все будут рассуждать и завтра, если по-прежнему останутся — а к этому всё идет — строго последовательными в своих выводах.

Вернувшись по ходу рассуждений к началу, говоришь себе: раз из идеи народной власти и равенства логически и со всей необходимостью вытекают подобные выводы, может, сами эти идеи ложные и наши рассуждения доказывают это? Вряд ли, однако с этим согласятся приверженцы таких идей, потому что представления о народной власти и равенстве не просто общие идеи, зародились они в чувствах.

Это преображенные в идеи чувства, что, без сомнения, справедливо для каждой общей идеи. И чувства очень сильные. Власть народа есть истина для тех, кто в нее верит, истина безоговорочная и столь же величественная, как Цезарь во всем своем блеске для древнего римлянина или Людовик XIV во всей своей славе для француза XVII века.

Идея о равенстве тоже истинна для того, кто в нее верит, она должна быть таковой, потому что воплощает собой справедливость — постыдна сама мысль о том, что справедливое не истинно. Для демократа мир с момента возникновения постепенно восходит к торжеству идей народной власти и ра-

венства, последняя предполагает первую, народная же власть должна обеспечить равенство, в этом её миссия, причем народная власть и равенство олицетворяют не что иное, как цивилизацию, а их отсутствие, отказ от них отбрасывают человечество ко временам варварства.

Здесь мы имеем дело с догмами. Догма — это могущественное чувство, нашедшее свою формулу. Всё, что строго последовательно выводится из названных двух догм, — истина, которую люди вправе и должны распространять.

Добавим, что учителя народа подталкивают двигаться в том же направлении и менее благородные чувства, достаточно сильные сами по себе. В коммуне учитель противостоит священнику, единственному чаще всего человеку, более или менее просвещенному. Налицо соперничество, борьба за влияние. Между тем священник в силу исторических обстоятельств нередко монархист, ярый или умеренный, и почти всегда союзник аристократии. Он принадлежит к сословию, в свое время представлявшему собой становой хребет государства. Священник убежден, что, несмотря ни на что, оно продолжает им оставаться. При умеренном правлении клир признается государством наряду с судебным ведомством и армией. Если церковь от государства отделена, священство *тем более* составляет сословие внутри государства, так как из-за строгой организации, из-за того, что для него не существует границ, оно являет собой некий коллектив, единый организм, который пусть не без риска для себя, но зачастую успешно борется с самим государством.

С тем большей рьяностью учитель, соперник священника, бросается на защиту демократических принципов, подтал-

квиваемый не только своими убеждениями, но и вполне понятной ревностью. Гораздо сильнее, чем философ XVIII века (так как в нем больше интереса, неприязни, враждебности), убежден он в том, что всё, чему учит священник, досужая выдумка коварных угнетателей, желающих закабалить, поработить народ, дабы навсегда утвердить свое господство. Отсюда подчеркнутая приверженность народного наставника к подновленным философским теориям Дидро и Гольбаха. Для учителя священник просто не может не быть негодяем.

«Атеизм аристократичен», — говорил Робеспьер, вспоминая Руссо. Атеизм демократичен, утверждают современные учителя. Откуда такой разницей во мнениях? Просто в XVIII веке неверие процветало именно среди знати, народ же в массе своей веровал в Бога. Теперешние священнослужители — я уже говорил почему, — памятуя также о преследованиях, которым подверглась церковь при начальном триумфе демократии, остались в душе аристократами или стали ими уже в наше время. Атеизм, стало быть, превратился в оружие демократов против деистов, чаще всего проповедующих аристократические взгляды.

В целом атеизм прекрасно сочетается (это знал уже Робеспьер) с ходячими представлениями самых низкопробных демагогов. Не быть ничем связанным, пользоваться неограниченной властью — вот к чему первым долгом стремится народ. Вернее, это демократы стремятся к тому, чтобы народ не был ничем связан и пользовался неограниченной властью. Между тем Бог — это ограничение, Бог — узда. И если демократы не признают освященную годами конституцию, которую народ не мог бы в одночасье изменить и которая не поз-

воляет ему принимать дурные законы, если демократы не признают, как выражался Аристотель, главенства законов, главенства древнего законоуложения, сдерживающего народ, не дающего ему без конца штамповать *декреты*, тем более они не приемлют Бога с его заповедями, с его основополагающими предписаниями, предшествующими всем вообще законам и установлениям, превосходящими их, полагающими предел законодательным поползновениям народа, его произволу, его абсолютной власти.

Бисмарк спросили после Седана: «С кем вы воюете теперь, когда пал Наполеон?» «С Людовиком XIV», — ответил тот. На вопрос о его атеизме демократ вполне мог бы ответить: «Я воюю с Моисеем».

Вот на чем зиждется атеизм демократов, атеизм новоявленных учителей. Вот откуда известная формула анархистов: «Ни Бога, ни властелина», не нуждающаяся для них ни в поправках, ни в дополнениях. Демократ добавил бы: «Ни Бога, ни властелина — один лишь народ».

Подытоживая бурные политические дискуссии 1849–1850 годов, Виктор Гюго сказал: «...и будут лишь две власти: народ и Бог». Современный демократ уверен: само существование Бога, вера в него поколеблет устои верховной власти народа.

И наконец, учителя еще более утвердила во всех демократических убеждениях политическая ситуация во Франции. Странная вещь, аномалия, приводящая в замешательство, но при всех правительствах в XIX веке (особенно, надо отдать ему должное, при теперешнем) ничто не ущемляло свободы преподавателей высшей и средней школы, чего не скажешь о народных учителях. Преподаватель высшей школы, особен-

но после 1870 года, может обучать чему угодно, лишь бы он не проповедовал безнравственность и неуважение к своей стране и её законам. Он может даже оспаривать эти законы, не призывая, однако, их нарушать, коль скоро они не отменены. Свобода отстаивать свои политические, общественные и религиозные взгляды у него полная. Препятствуют ему временами лишь студенты, выражающие другие точки зрения. Примерно такой же свободой пользуется преподаватель средней школы. Его ограничивает, да и то весьма относительно, только необходимость следовать программе. Каким образом он будет её освещать, никого не тревожит. Ему доверяют.

При этом власть имущим никогда не приходило в голову поинтересоваться, за кого голосует преподаватель высшей или средней школы, или тем более просить его агитировать за удобного им кандидата.

А вот в случае простого учителя всё наоборот. Начать с того, что его назначает не его руководство в лице ректора или министра образования, а префект, то есть, по существу, министр внутренних дел, ведающий в правительстве политическими делами. Другими словами, при назначении должностных лиц народом, о котором мы говорили выше, в данном случае одним посредником меньше. Политическую волю народа на данный момент олицетворяет собой министр внутренних дел. Именно он через префектов и назначает народных наставников. Таким образом, их выбор определяется политической волей народа. И лучшего способа дать им это понять нет, это и хорошо, надо же предупредить людей, что их выбрали по политическим соображениям и что они обязаны выражать интересы некой политической силы.

Они их и выражают, во всяком случае в первую очередь. Учителя зависят от префектов, те во многом зависят от депутатов. И хотя назначают учителей не депутаты, именно с подачи депутатов их переводят с места на место, продвигают по службе, подвергают опале, частыми перемещениями могут обречь на голод и так далее. Принимая во внимание то, в какое непростое, деликатное положение ставит учителей такая зависимость, можно сказать, что им необходима хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, гарантия, хоть частичная, что их не сместят. Такой гарантии у них нет. У преподавателей высшей школы есть, хотя они в ней не нуждаются, у преподавателей средней школы, в общем, тоже есть, а у простых учителей — нет.

Они полностью во власти политиков, которые превращают их в агитаторов, рассчитывая, что они повлияют на электоральные предпочтения сограждан, и не прощают учителям, когда те не оправдывают их надежд.

В результате большинство учителей добровольно стали демагогами и с рвением и энтузиазмом выполняют волю властей. Другие делают то же самое против воли. Таковы правила игры.

При сложившихся обстоятельствах демагогами становятся и люди, к демагогии никак не предрасположенные. Как говорил Ожье: «В драке не бывает наемников». Брошенные иногда даже против желания в самую гущу схватки, вынужденные хотя бы делать вид, что тоже в ней участвуют, они получают удары от противника, после чего включаются в борьбу уже сознательно. Кончается тем, что люди принимают те идеи, которые им навязывают. Молодого учителя с ходу объявляют демаго-

гом, как только он появляется в деревне. Он не может возразить, противная сторона встречает его враждебно, проходит год — и демагог он уже злостный.

Итак, демократия согласна лишь на образование, которое упрочивает её положение, но при этом усугубляет её недостатки.

— Демократии лучше бы не очень верить в свое могущество, сомневаться в нем, думать, что оно имеет свои границы. Людей же приучают безоговорочно принимать догму об абсолютной власти народа.

Демократии хорошо бы в какой-то степени понять, что равенство противоестественно, что нельзя заставить природу установить «действительное равенство между людьми», что народ, который учредит такое равенство — а это в принципе возможно, — разделит судьбу тех, кто пытается жить наперекор законам природы. Людей тем не менее учат, что равенство только тогда равенство, когда оно полное (в общем, так оно и есть), абсолютное, когда оно касается состояния, социального положения, способностей, роста, телосложения, и что надо делать всё возможное, лишь бы полная уравниловка восторжествовала.

Это тяжелое бремя трудно вынести, поэтому демократам надо было бы развивать чувство патриотизма. Между тем людей учат, что военная служба — постылое наследие мрачного варварского прошлого, которое должно исчезнуть в лучах принесшей мир цивилизации.

Одним словом, используя выражение Аристотеля, на народ обрушивают демократию в чистом виде, как в свое время демагоги обрушивали её на головы афинян; и там, где ожидали найти снадобье, получали отраву.

Тот же Аристотель очень остроумно и глубоко высказался о равенстве: «*Следует скорее добиваться равенства в страстях, нежели в судьбах*». И добавил: «Подобное равенство может быть лишь плодом воспитания, предусмотренного законодательно». Очень точные слова. Цель воспитания должна быть одна: уравнивать людские страсти, научить *невозмутимости*, определенному душевному равновесию. У демократического воспитания цель сегодня прямо противоположная.

12 Мечта

Какими же средствами вылечить этот современный недуг — культ некомпетентности, интеллектуальной и моральной? Каковы основные способы избежать подводных рифов, угрожающих демократическому режиму, по выражению г-на Фуйе? Как вы уже поняли, я таких способов не вижу, ибо мы имеем дело с заболеванием, которое разве что может пройти само, с заболеванием, с которым больной носитя как с писаной торбой.

Г-н Фуйе* предлагает учредить высшую элитарную палату, куда входили бы представители самых компетентных в стране сообществ: судебного ведомства, армии, университета, торговой палаты и так далее.

Прекрасно, надо только, чтобы на это согласились демократы, а они именно таким сообществам, основанным на ком-

* «Revue des Deux Mondes» от 15 ноября 1909 года.

петентности, не доверяют, считая их, и не без причины, аристократическими по сути.

Г-н Фуйе предлагает также государству энергично вмешиваться в жизнь общества для восстановления общественной морали: бороться с алкоголизмом, азартными играми, порнографией.

Но, во-первых, от подобных мер пахнет реакцией, ведь из них состояла программа «морального порядка» в 1873 году, а во-вторых, — это признает и г-н Фуйе — демократическое государство не в состоянии уничтожить то, за счет чего оно живет, отказаться от основных источников своих доходов. Демократическое правление — поборники демократии соглашались с этим — обходится отнюдь не дешево. Его учреждали с надеждой, а нередко и с намерением опереться на экономические факторы. Однако демократическая власть всегда была разорительной, потому что она, как никакая другая, нуждалась в большом количестве сторонников и как можно меньшем количестве недовольных. Между тем сторонников надо так или иначе подкармливать, недовольных — обезоруживать и так или иначе подкупать.

Демократия и в давние, и в теперешние времена пребывала и пребывает в страхе перед возможным тираном, который, с её точки зрения, должен вот-вот явиться. Чтобы совладать с тираном, опирающимся на энергичное меньшинство, она хочет заручиться поддержкой подавляющего большинства населения и старается осыпать его своими милостями. Кроме того, у потенциального тирана она должна увести всех недовольных, на чью помощь тот мог бы рассчитывать, а значит, подкупить их еще большими милостями.

Следовательно, демократия нуждается в большом количестве денег. Да, она сдирает три шкуры с богатых. Однако богатых мало, и прибыток с них для властей невелик. Значительно больший доход демократическая власть получит, потакая порокам большинства, ибо людей с пороками масса. Отсюда льготы всевозможным «кабаре». Стало значительно опаснее закрыть кабаре, чем закрыть церковь, как говорит г-н Фуйе. Всё увеличивающаяся нужда в средствах, продолжает он, конечно же, заставит демократический режим наложить руку на прибыль с домов терпимости и с издания непристойной литературы, ведь тут крутятся большие деньги. В конце концов, с моральной точки зрения всё равно, будет ли эта индустрия отдана на откуп отдельным дельцам или доход от нее присвоит государство. С финансовой же точки зрения разве второе не предпочтительнее?

Г-н Фуйе утверждает также, что реформа должна прийти «сверху, а не снизу», что «сверху, а не снизу должно начаться движение за возрождение общества».

Лучшего и желать нечего. Вот только как это произойдет? Ведь всё зависит от народа. Кто и что может воздействовать на народ, кроме него самого? Если всё зависит от народа, что может привести его в движение, если не сила, исходящая из его собственных недр? Перед нами — поскольку мы разговариваем с философом, позволительно воспользоваться этим термином — *κίνησις ἀκίνητος**, мотор, который сам есть источник движения, а не получает его извне.

Исчезла основа, предрассудок, если угодно, предрассудок компетентности. Люди больше не считают, что наиболее све-

* Неподвижный двигатель (греч.).

душий в каком-либо деле должен этим делом заниматься или быть для этого избранным. В результате, мало того что всё идет наперекосяк, нет никакой возможности исправить положение дел. Совершенно безвыходная ситуация.

Ницше демократия, разумеется, приводила в ужас. Однако, как все энергичные пессимисты, пессимисты не *rosucigante**, он любил повторять: «Есть пессимисты, смирившиеся, трусливые; такими мы не хотим быть». И когда он не хотел таким быть, он заставлял себя глядеть на демократию благосклонным взором.

Иногда он исходил из эстетических соображений: «Якшаясь с народом, без которого всё равно не обойтись, ты словно созерцаешь лес из мощных здоровых деревьев». Это высказывание резко противоречит всему тому, что Ницше говорил о «стадном животном», «людском болоте». Оно не лишено смысла и означает, что инстинкт — сила и, как за любой силой, за ней интересно наблюдать. Она всегда деятельна, она — основа жизни, её побудительная причина.

Может, так оно и есть, хотя это не очевидно. Вся сила толпы заключается в численности составляющих её людей и во мнении, будто количество решает всё. Да, количество играет свою роль, но оно никому не придает реальной силы. Действенная сила всегда у того, у кого есть план, — он его задумывает, ему следует, за него ратует, делает всё для его осуществления. Если плана нет, если он не работает, если он малоэффективен, непонятно, откуда у толпы возьмется сила действовать. Эту мысль надо было бы несколько развить.

* Равнодушные ко всему (*ит.*). Сенатор Пококуранте из вольтеровского «Кандида» (*прим. ред.*).

Порою Ницше задавался вопросом, не следует ли признать за людской массой право следовать своему идеалу, имеющему как бы несколько степеней. Должны ли мы отказывать людским массам в праве отыскивать свои собственные истины, вырабатывать жизненно насущные взгляды и думать, что они у них теперь есть? Людское большинство — опора человеческого общества, фундамент его культуры. Лишившись фундамента, чем станут господа? Им нужно, чтобы массы были счастливы. Проявим терпение. Смиримся с тем, что взбунтовавшиеся рабы — на сегодня наши господа — изобретают приятные себе иллюзии...

Чаще же — исконный аристократизм Ницше то и дело возвращал его к этой мысли — он рассматривал демократический строй как некий упадок и в то же время необходимое условие грядущего возвращения аристократов к кормилу власти: «Высшая культура может строиться лишь на обширном участке земли, с опорой на здоровую и сплоченную посредственность» [1887 год. За десять лет до этого Ницше высказался о рабстве как необходимом условии для создания высокой культуры Греции и Рима]. Следовательно, единственной, пусть временной, но долгосрочной целью должно стать умаление человека, ибо сперва нужно построить обширный фундамент и лишь на нем возводить расу сильных людей. «Умаление европейца — великий процесс, который не надо останавливать. Наоборот, его надо ускорять. Это действенный признак, позволяющий надеяться на появление более сильной расы, которая в избытке обладала бы качествами, отсутствующими у хилой породы современных людей, — волей, чувством ответственности, уверенностью, умением задаваться целью...»

Но как из посредственности, которой становится всё больше (так представляет это сам Ницше), с помощью какого естественного или искусственного процесса из этой массы может образоваться новая раса, родиться элита? Ницше словно вспоминает тут весьма непочтительную и лишенную всякого сыновнего чувства теорию, посредством которой Ренан объяснял себе свой гений: «Долгий ряд моих темных предков сэкономил мне силу моего ума...» Он записывает в дневнике несколько сумбурных размышлений, которые, однако, проливают свет на проблему: «Было бы нелепостью думать, что победа этих ценностей [низменных ценностей?] носит антибиологический характер. Объяснение её следовало бы искать в жизненном интересе сохранить тип <человека>, пусть и путем преобладания слабых и убогих особей. Не будь этого, человек, возможно, исчез бы с лица земли. — Возвышение типа опасно для сохранения рода. Но почему? — *Сильные расы суть расы расточительные. Мы имеем тут дело с соображениями экономии*».

Теперь более или менее ясно, на что рассчитывал или надеялся Ницше. На природный процесс. На своего рода *vis medicatrix naturae**. Ослабляя себя, умаляя, раса сберегает, экономит силы, дает себе передышку. А так как предполагается, что количество интеллектуальной и моральной энергии, а также сумма человеческих достоинств — величины постоянные, расы, действующие подобным образом, накапливают определенный запас, который в свое время неминуемо воплотится в элите. То есть раса сама пестует в своем лоне элиту. Придет срок, и она разрешится аристократией, которая примет на себя бремя правления.

* Целительную силу природы (*лат.*).

У Ницше мы часто находим влияние идей Шопенгауэра относительно великого обманщика, который водит человечество за нос и заставляет его делать то, что тому кажется приятным. Однако если бы человечество знало, к чему это приведет, оно бы ни за что так не поступало. Да, чрезмерная экономия сил способна привести к их накоплению, но способна — и это более вероятно — привести и к анемии. Уничтожение теперешней элиты с целью создания элиты будущей не есть ли уловка великого обманщика, и уловка опасная? Кто может поручиться, что великий обманщик не бросает на произвол судьбы тех, кто не хранит себя сам?

Не уклоняясь в метафизические тонкости, хочется посоветовать окружающим нас честолюбцам: «Лучший способ прибыть — стусеваться». Это и есть настоящая философия, сказал бы мне Ницше, это так же верно для народов, как для отдельных личностей. Чтобы обрести величие, народу лучше всего сначала умалить себя. У меня, правда, есть некоторые сомнения. Нет никакой разумной причины, чтобы постоянно культивируемая слабость обратилась вдруг в силу. Ни Греция, ни Рим не дают нам ни одного примера в поддержку этой теории. Ни демократическое государство Афин, ни римская демократия времен Цезаря не породили никакой аристократии, продолжительно экономя на ценностях.

— У них просто не было времени.

— Это всегда только отговорка.

Но, может, лучше всё-таки пресечь демократию, чем ускорять процесс упадка, чтобы он завершился возрождением? Так, во всяком случае, будет выглядеть естественнее и согласно с чувством долга.

Когда я говорю «пресечь демократию», я имею в виду, что она должна пресечь себя сама, потому что ничто не в состоянии её остановить, как скоро она осознала свои действия. Надо думать лишь о том, чтобы убедить её. Надо её убедить не доверять себе. Попытка отчаянно смелая, но ничего другого не придумать, любые иные шаги еще более тщетны.

Надо напомнить ей, что режим гибнет, если изменяет своим принципам или злоупотребляет ими, — истина старая как мир. Он гибнет, когда изменяет своим принципам, так как они — историческое обоснование его рождения. Он гибнет, когда злоупотребляет ими, так как нет принципов на все случаи жизни, способных, не нуждаясь ни в чем ином, обеспечивать работу социального механизма.

В чем заключается принцип правления? Не в том, что делает его таковым, а в том, по словам Монтескьё, «что заставляет его действовать», а «принуждают его к действию человеческие страсти». Между тем очевидно, что страстное стремление к власти, страстное стремление к равенству и страстное стремление к некомпетентности недостаточны, чтобы придать режиму наполненность и силу.

Компетентности тоже нужно оставить место, взять её, так сказать, в долю. Я не буду утверждать, что у нее есть на это право, просто существует определенная потребность общества в ней. Компетентность должна проявлять себя в технической, интеллектуальной, моральной областях, даже если это ограничит верховную власть народа и нанесет ущерб равенству.

Демократическое начало в высшей степени необходимо народу; но в высшей степени необходимо ему и аристократическое начало.

Демократическое начало нужно народу для того, чтобы он не чувствовал себя обреченным на пассивность, чтобы он осознавал себя частью — и частью существенной — общества, чтобы слова «нация — это вы, защитите её» имели смысл. В противном случае резонно звучали бы антипатриотические высказывания демагогов типа: «К чему бороться за одну власть против другой, если для нас что те, что эти — один черт?»

Демократическое начало при управлении народом необходимо также и потому, что весьма опасно превращать народ в нечто таинственное. Следует знать, о чем он думает, что чувствует, от чего страдает, чего желает, чего боится, на что надеется. А так как узнать это можно только от самого народа, ему надо давать возможность высказаться и не затыкать ему рот.

Способы могут быть различные. Пусть это будет особая палата, созданная специально для народа, где решающее слово в значительной степени будет принадлежать ему, или пусть палата будет одна, но народ в ней будет иметь солидное представительство, или пусть законодательно будет предусмотрен обязательный плебисцит в случае пересмотра конституции или принятия законов, значимых для всех слоев общества. Пусть будет свобода печати, свобода собраний и объединений, что само по себе недостаточно или, вернее, почти достаточно. Надо, чтобы народ имел возможность выразить, чего он хочет, и мог оказывать давление на власти, одним словом, чтобы власти *слышали* и *слушали* народное мнение.

Однако в нации и во власти необходимо и аристократическое начало, чтобы хаотичное в народе не поглотило то,

что есть в нем ясного и определенного, смутное не возобладало над точным, а капризы и непоследовательность не заглушили волевую направленность.

Иногда аристократию создает история, такая аристократия отнюдь не плоха, это более или менее закрытая каста, хранительница традиции, которая лучше любого закона оберегает всё самое живое, самое жизнестойкое, самое плодоносное в душе народа. Бывает, что история не создает аристократии или та по какой-то причине гибнет, тогда породить аристократию должен народ, при этом демократический режим обязан ценить и культивировать такие качества, как благодарность за оказанные услуги, распространяющаяся и на потомков тех, кто их оказал, почитание людей, сведущих в той или иной области, уважение нравственных качеств избираемого, независимо от сферы приложения его сил.

Эти качества — необходимое условие вхождения во власть, адаптации к социальной среде, общественному механизму, его устройению. Можно сказать, что благодаря этим качествам *демократия внедряется в общество, исходным материалом которого является*. Как хорошо выразился Стюарт Милль, «нельзя иметь *квалифицированной* демократии, если демократия не признает, что работа, требующая должной квалификации, должна выполняться теми, кто ею обладает».

Таким образом, насущно необходима и сейчас, и всегда — даже при социалистическом режиме, при котором, как я говорил, аристократия тоже есть, причем более многочисленная, — некая смесь демократического и аристократического начал. Так что Аристотель всегда останется прав — он хоть и жил

в незапамятные времена, но ему довелось воочию наблюдать полторы сотни различных режимов.

Разумеется, сам он явный аристократ, но, говоря про Лакедемон, который он не любил, или про Карфаген, или рассуждая вообще, он приходил к выводу, что лучший режим — режим смешанный. «Есть способ совместить демократический элемент с аристократическим. Надо сделать так, чтобы и у граждан выдающихся, и у толпы было всё, что бы они ни пожелали. Равное право для всех стать должностным лицом — принцип демократический. Допуск к высшим должностям лишь достойных — принцип аристократический».

Именно смешение демократического и аристократического начал обеспечивает наилучшее государственное устройство. Смешение, однако, не предполагает простого наложения разнородных элементов, что привело бы к столкновению враждебных сторон. Я сказал «смешение», но лучше было бы сказать «сочетание». Надо, чтобы аристократическое и демократическое начала сочетались друг с другом.

Каким образом? Некоторое время назад я уже говорил об этом, позволю себе повторить. Нация здорова лишь тогда, когда её аристократия любит народ, а народ аристократичен. Нация, в которой аристократия аристократична, а народ демократичен, обречена на скорую гибель. Не отдавая себе отчета в том, что такое народ, она подменяет понятие «народ» понятием «класс».

Монтескьё восхищается афинянами и римлянами вот по какой причине: «Известно, что в Риме народ добился права избирать плебеев на высшие должности, но этим правом не пользовался. И в Афинах, хотя должности по закону Аристида

могли занимать представители всех классов, не было случая, свидетельствует Ксенофонт, чтобы на эти должности, обеспечивавшие им избавление от тягот и славу, претендовали низшие слои общества». Так-то оно так, но для афинян это не имело значения: в Афинах всё решалось путем плебисцита, и власть, по существу, принадлежала ораторам, которые пользовались расположением народа, влияли на его решения и на деле правили городом. А вот для Рима это был факт чрезвычайной важности, ведь там действительно власть концентрировалась в руках избранных народом лиц.

В республиканском Риме строй был аристократическим с некоторыми элементами демократии, но даже эти элементы, вплоть до гражданских войн, носили аристократический отпечаток. В то же время аристократия, всегда доступная влиянию плебеев, как нельзя более тяготела к народу.

Появление клиентелы, к какой бы деградации этот процесс ни приводил, — явление своего рода уникальное, показывающее, что оба класса чувствовали: для нормального функционирования общества и государства им надо опираться друг на друга, друг в друге укореняться.

Итак, здоровая нация — такая нация, в которой плебс аристократичен, а аристократия народолюбива. Рим достиг больших успехов, потому что в течение пятисот лет являл собою здоровый социальный организм.

Народ аристократичен, аристократия народолюбива — долгое время я думал, что эту формулу придумал я. Недавно я обнаружил, надо сказать без особого удивления, что она восходит к Аристотелю: «В некоторых городах олигархи дают урок: „Клянусь всегда оставаться врагом народа и рекомендо-

вать лишь то, что способно нанести ему вред“. Между тем следует хотя бы на словах проповедовать прямо противоположное... При олигархическом и демократическом режимах допускают схожую политическую ошибку. Там, где законы диктует большинство, её постоянно совершают демагоги. Борясь с богатыми, они всегда разделяют государство на две противоположные партии. *При демократическом строе, наоборот, власть должна делать вид, что выступает за богатых, при олигархическом — олигархи должны притворяться, будто действуют на благо народа».*

Совет в стиле Макиавелли. Аристотель, по-видимому, убежден, что демократы способны лишь делать вид, что защищают богатых, а олигархи — лишь притворяться, будто действуют на благо народа. Тем не менее он понимает: именно так нужно поступать, чтобы сохранить мир и согласие в государстве.

Однако этого мало. Аристократы должны не только делать вид, но и на самом деле любить народ. Это в интересах самой аристократии, ведь ей нужна опора. Демократы должны не только казаться, но и быть настоящими аристократами. Это в интересах самой демократии, которая нуждается в вожатом.

Взаимные услуги, верность друг другу, совместные действия столь же необходимы и в современных государствах. Это и есть социальная синергия. Синергия в обществе должна быть так же сильна, как в семье. Разлад в семье обрекает её на гибель, разделенное царство рушится.

Монархический строй не касался напрямую темы моей работы, и я мало говорил о нем. Монархии были сильны, когда монархические чувства аристократии и народа приводили к той же синергии в обществе. Когда двое верны чему-то тре-

тѣму, они верны друг другу благодаря общности двух волей: *Eadem velle, eadem nolle amicitia est**.

Это верно не только для монархии, это верно для отечества вообще. В интересах отечества можно и нужно достичь синергии, общности и единства различных волей. Надо, чтобы малые мира сего любили отечество в лице людей великих, а те в свою очередь любили его в малых сих. Тогда те и другие возжелают и возненавидят одно и то же. *Amicitia sit!***

* Желать одно и то же, не желая этого, это и есть дружба (*лат.*). Несколько видоизмененная цитата из Саллюстия (*прим. ред.*).

** И будет дружба (*лат.*).

Об авторе

Имя Эмиля Фаге мало что говорит современному читателю: русскому, но и французскому. Причины лежат как на ладони. О причинах как раз и написано в книге с таким попадающим названием: «Культ некомпетентности». Но если у автора Фаге сегодня нет или почти нет читателей, то только потому, что писал он очевидным образом не для *сегодняшних* читателей. Было бы наивным, пишучи книгу «Культ некомпетентности», рассчитывать на то, что её будут читать служители этого культа. Некомпетентность на то и некомпетентность, что, даже культивируя себя, даже не признавая ничего, кроме себя, она не знает о себе ровным счетом ничего. Ситуация, очень схожая со случаем Шпенглера. Если Шпенглера сегодня не читают на Западе, да и просто не знают, то оттого лишь, что всё идет как раз *по Шпенглеру*: в подтверждение *правильности* его прогнозов. О каком же еще *закате Европы* пришлось бы говорить, будь европейцы вообще в состоянии еще читать Шпенглера! Он предсказал им участь феллашества, а феллахи, как известно, не читают книг, по крайней мере таких, из которых они узнали бы, что они феллахи.

Это правило вполне значимо и для Фаге. До феллашества здесь, правда, дело не дошло, но прицел взят в том же направлении. То, что книга «Культ некомпетентности» по выходе в свет (1910) имела большой успех, объясняется, скорее, заторможенностью читательских реакций, чем их адекватностью. Последующие десятилетия поставили всё на место; число читающих книгу неукоснительно прогрессировало к нулю, самим этим убыванием подтверждая её правоту и злободневность.

Эмиль Фаге (он родился в 1847 году и умер в 1916-м) — историк и критик литературы, учившийся истории у Тэна, критике, скорее всего, у Сент-Бёва, но несколько не стушевавшийся перед учителями, а выросший до их уровня. Говоря о литературе, историком и критиком которой был Фаге, надо иметь в виду литературу не как жанр, а как искусство, искусство же искать не там, где ему положено быть, а там, где оно *есть*: тривиальность, каждый раз ошеломляющая неожиданностями конкретных примеров. Многие ли адепты изящной словесности выдержали бы сравнение с натуралистом Бюффеном, который живописует животных вдохновеннее, чем иной поэт свои любовные томления (чего стоит одна глава «Осел» в его «Естественной истории»)! Или с аббатом Галиани («советник коммерции в стране, где нет коммерции» — так отрекомендовался он однажды), оставившим литературный шедевр в сочинении под названием «Диалоги о торговле зерном»! Шпенглер, неосторожный как всегда, и в этом случае попал не в бровь, а в оба глаза, написав следующее: «Я нахожу хороший немецкий часто в передовицах, у Бисмарка, в деловых отчетах наших больших промышленных предприятий, но никогда в романах». Конечно, академик Фаге не сказал бы *такого*, но ведь услышал же и он поэта XVII века не в Расине, а в Паскале, мень-

ше всего склонном, да и способном писать стихи («Паскаль... величайший, быть может, поэт XVII века»); это слух сведущего человека, которому нет дела до этикеток и который пользуется словами, чтобы называть вещи, а не забалтывать их. Черта скорее немецкая, чем французская, или если и французская, то не из эпохи салонов, которые (заметил однажды Фаге) начали «вынуждать писателей к глупостям», а из более ранней, умственно и нравственно сильной, эпохи, той самой, где французский дух, в отсутствие германского, временно представлял за последнего. Величайший поэт века, не желающий и наверняка не умеющий писать стихи, — это то же, что (у Новалиса) математик высшего ранга, не умеющий считать. Фаге писал историю литературы, меньше всего косясь на табель о рангах или какую-то дистрофическую объективность. С другой стороны, он донельзя далек и от всякого рода «закрытых чтений», конструкций, реконструкций, деконструкций и как бы эта бижутерия ни называлась. Он пишет о литературе как свидетель, а не критик; или если и как критик, то не в шаблоне реванша за неудавшееся писательство, а на равных. Его критика — роман, а не профессорские унылости. Но даже профессорские унылости не внушили бы ему такого отвращения, как его сверхмодные нынешние соотечественники, плейбои от модерна и постмодерна, теории которых сидят на их словах не хуже, чем их костюмы на них самих. Фаге пишет о литературе, совсем как Ницше о музыке: страдая от её судьбы, как от открытой раны. Он пишет пристрастно, мстительно, как бы сводя счеты, и кучность его попаданий такова, что едва успеваешь наслаждаться их меткостью. Это прежде всего виртуозные этюды по истории французской литературы: «Шестнадцатый век», «Семнадцатый век», «Восемнадцатый век» и «Деятнадцатый век». «Ларусс», не особенно жалующий автора «Культа некомпетентности», следующим образом резюмирует его

литературно-критический дар: «В своих этюдах по истории литературы он проявляет суровость к мысли XVIII века», — что совершенно верно фактически, хотя и непонятно как упрек, будто бы век Вольтера заслуживал иного, нежного и осмотрительного, отношения. Во всяком случае, Фаге не более суров к Вольтеру, который для него «прежде всего французский мещанин во дворянстве эпохи Регентства», чем сам Вольтер ко всему подлинно дворянскому. *«Вольтер лжет, как вода течет из крана»*. Что это, суровость? Ну вот и постарайтесь сказать это иначе: мягче! Сказать иначе — значит сказать иное. Фаге говорит так, а не иначе, потому что не хочет сказать иного. Некоторые его характеристики опасны тем, что от них, однажды прочитав их, нельзя отделаться. Это уже не мысли, оценки, остроты, а — *оптика*. Скажем, как в случае с Фонтенелем, если допустить, что читатель имел бы неосторожность узнать Фонтенеля через Фаге до того, как стал бы читать самого Фонтенеля. Налицо самая настоящая предвзятость, которую оттого и предпочитаешь всякого рода объективностям, что с нею видишь, а с ними слепнешь. Это что-то вроде контрастного раствора, после которого предмет предстает во всей ясности: блистательный полигистор, замерший в позе, в которую сам же вошел, после того как её скроил для него автор «Восемнадцатого века». Дело в том, что Фонтенель, *genius loci* салонов, был племянником Корнеля и писал не только всё что угодно, но и трагедии. Очевидно, делать этого ему не следовало, и, вероятнее всего, он и не писал бы их, доведись ему предвидеть «сурового» критика, который через полтора столетия угадает в нем человека, «бывшего племянником Корнеля, но делавшего вид, что он его дядя».

«Культ некомпетентности» — книга о демократии, в которой демократия увидена не в том или ином дефекте, а *как* дефект. Дефект

назван по имени: *некомпетентность*. Не просто некомпетентность, как неизбежное зло, с которым мирятся, потому что не могут от него избавиться, а зло поволенное, систематически порождаемое и культивируемое. Ничего удивительного, что книгу эту написал француз, причем француз, для которого век Просвещения во Франции есть век искоренения всего французского. Век энциклопедических пошляков, которыми зачитывались будущие народные вожди, как уже в наше время студенческие вожди зачитывались другими философскими и околофилософскими пошляками. (Разве джинсовое и гигиенически отнюдь не безупречное поколение 68-го не опознало бы свое *déjà vu* в мире Руссо!) Отсюда и пошла зараза: «английская соль» (*sal anglicum catharticum*) во французских облатках. Немного внимания, и за мишурой французского Просвещения обнаружится «раскрутка» английской идеи, некий отпиаренный в Париже Локк, в сочинениях которого, уверяет Вольтер, «нет ничего, кроме истин» (вроде следующей, например: если люди, по Локку, *редко* (!) говорят: «этот бык — дедушка того теленка» или «эти два голубя — двоюродные братья», то оттого лишь, что для животных это не имеет никакого значения, а людям нужно для улаживания всяких дел в суде и т. п.). Остальное было вопросом техники и *spy games*: понадобились две мировые войны с *безоговорочной капитуляцией противника*, чтобы можно было говорить о победе Локка и выпускании всех джиннов демократии, которая если и олицетворяет власть телят и их дедушек, то всякий раз не иначе как к концу легислативного периода, когда тертые и ухватистые малые лезут из кожи вон, чтобы полюбить своим избирателям. Понятно, что некомпетентный электорат делает выбор в пользу себе подобных, как понятно и то, что этих последних может устроить только им же подобная исполнительная власть. О министре иностранных дел в правительстве Луи-Филиппа

Талейран произнес бессмертную фразу: «Призванием господина де Бройля, — сказал Талейран, — было *не* быть министром иностранных дел». Это формула *призвания демократа*. Речь идет о заговоре некомпетентных, поставивших себе целью сделать человечество счастливым, а значит, глупым, или, в ином пасьянсе: глупым, а значит, счастливым. *The greatest happiness of the greatest number*. Они просто воспользовались минутной растерянностью геббелевского Бога (Фридрих Геббель: «Господь Бог был в растерянности, что ему делать с множеством людей, которые не знали, куда себя девать; тогда он создал счастье») и вцепились в счастье мертвой хваткой безбилетных пассажиров, по принципу: чем меньше знаешь, тем дальше едешь. Счастливый министр, не знающий, что и когда подписывать; счастливый хирург, не знающий, что и где резать; счастливая мать, не знающая, чем и зачем кормить ребенка; счастливый чревоугодник, не знающий, в рот или в ухо сунуть вилку с лакомством... На упаковке орешков American Airlines написано: *Инструкция: Откройте упаковку, съешьте орешки!* Это для особенно некомпетентных. Но вот нечто более солидное. Среди побочных действий в инструкции к одному лекарству перечисляются: *боль в суставах, головокружение, коллапс, смерть, тошнота*; причем то, что *смерть* стоит не на последнем месте, а перед *тошнотой*, — наверняка не описка, а просто констатация факта, что после смерти (такой) бывает тошно... Пусть в 1910 году, когда Фаге издавал свою книгу, некомпетентность не пустила еще столь мощных планетарных побегов, пусть маниакальная воля к обесмысливанию мира у называющих себя *«интеллектуалами»* мутантов не проявлялась еще столь нагло и безнаказанно, пусть закат Европы был еще не утром Америки (с восходящим в Америке солнцем Лемурии), а всё еще книгой, *европейской книгой*, но только воробы кричали уже со всех европейских крыш, что бли-

жайшим следствием *культы некомпетентности*, не будь ему однажды решительно положен конец, может быть только *господство слабоумных*.

Фаге, историк и критик литературы, немыслим без Фаге, историка политических воззрений. Его трехтомный труд «Политики и моралисты XIX века» содержит все решающие импликации «Культы некомпетентности». Любопытно, что открывает книгу очерк о Жозефе де Местре, читая который трудно отделаться от впечатления, что некоторые пассажи писались или, по меньшей мере, правились самим де Местром. Скажем, следующая характеристика покойного графа, в которую читатель его сочинений должен был бы облачиться как в скафандр, прежде чем погрузиться в их исступленную аналитику. «Он, — говорит Фаге о де Местре, — слишком патриций, чтобы быть аристократом». Если подумать о том, что время жизни де Местра отделено от книги «Культ некомпетентности» всего лишь одним столетием, то самый раз будет зафиксировать одновременность трех всемирно-исторических типов, сшибшихся здесь в диссонанс: патрицианской трансцендентности, аристократической дистанцированности и буржуазной всюдности. Оценка демократии у де Местра есть лишь продолженная *вниз* оценка аристократии, с непрерывным оглашением приговора и «*приглашением на казнь*». В его патрицианской оптике та и другая обнаруживают больше сходства, чем различия: аристократ — это тот же демократ, только требующий прав не для себя, а для своего сословия. «Вы много охотитесь, господин епископ, мне кое-что известно об этом, — сказал однажды Людовик XV епископу Диллону. — Как же Вы хотите запретить охоту Вашим кюре, если сами подаете им пример?» — «Государь, — возразил епископ, — у моих кюре охота — их личный недостаток; у меня

же — это недостаток моих предков». Для де Местра речь оба раза идет лишь о разновидностях плебейства, причем при случае он относится к плебейству сословному едва ли не с большей неприязнью, чем к личному. Понятно, что о диалоге здесь не приходится и думать; диалог был бы возможен единственно при условии, что собеседник демократа (или его аристократического двойника) — палач. Позиция Фаге — это именно позиция аристократа. Он восхищается автором «Санкт-Петербургских вечеров», но остается при своей воле к разумному компромиссу. Ибо можно как угодно относиться к названным трем типам: склонять голову перед миром де Местра и зажимать нос при виде иного свиноликого реформатора, но при этом знать и помнить, что первый — это уход от реальности в сон, а второй — кошмар пробуждения в реальность, которую едва ли побеждают повторным и уже периодическим погружением в сон. Фаге, при всем своем отвращении к идеям 1789 года, не забывает, что живет он *после* 1789 года. Пусть его симпатии к де Местру и делают его уязвимым для идущих от последнего мощных инспираций брезгливости, но его здравый смысл подсказывает ему, что брезгливость отнюдь не способ решения проблемы. (Он мог бы предостеречь ультрамонтаниста де Местра от нелепых последствий брезгливости, когда брезгуется в конце концов тем, чем не побрезговал сам Творец.) Характерно: в «Культе некомпетентности» де Местр не назван ни разу, но присутствие его нейтрализуется едва ли не на каждой странице книги, особенно к концу, где ищется выход: не в прошлое, а в настоящее. Фаге мог бы, парафразируя будущего Сартра, сказать: *«Мы осуждены на демократию»*. Но отсюда уже рукой подать до примирения и признания. При условии, что и сама демократия сделала бы встречный шаг. Шаг, после которого ей не оставалось бы ничего другого, как непрерывно преодолевать себя, свою религию

некомпетентности и нарколептическую тягу портить всё, к чему бы она ни прикасалась.

Книга «Култ некомпетентности», начинающаяся как бросок, завершается как бумеранг. Её конец удручает скомканностью и непродуманностью. Последняя глава так и названа: «Мечта». Лучше, если бы её вообще не было. Мечтающий социолог едва ли менее нелеп, чем хирург, размечтавшийся со скальпелем в руках. По-видимому, автору следовало остановиться на той самой черте, за которой его подстерегала опасность самому стать *некомпетентным*. Фаге, блестящий рассказчик, перешел черту и очутился в черной дыре *решения социального вопроса*. Спасаться от зла некомпетентности пришлось через зло мечтательства. (*Реплика*: В 1919 году, спустя три года после смерти Фаге, в дорнахском издательстве «Гётеанум» вышла в свет эпохальная книга «Основные черты социального вопроса в жизненных потребностях настоящего и будущего». Это был ответ Средней Европы на решения, навязываемые с Запада и с Востока: один раз как 14 пунктов программы Вильсона, другой раз как перманентная революция Троцкого и Ленина. — Смог бы Фаге, автор книги о *Ницше*, прочитать и воспринять *Рудольфа Штейнера*? А значит, компетентность *как таковую*! Скажем, по аналогии с Малларме, вдохновлявшимся Гегелем. О Фаге можно было бы сказать словами Андре Жида о Малларме: «Il pensait, avant de parler», «он думал, прежде чем говорить», что не так уж и очевидно, когда имеешь дело с французом. Сослагательность вопроса рассчитана не на ответ, а, скорее, на процедуру, носящую в феноменологической литературе техническое название «*свободная вариация в фантазии*». В некоем, параллельном миру истории, мире судьбы Фаге додумывает свою книгу не в мереве мечтательства, а в ясных и падающих, как молот, разъясне-

ниях *духовной науки*.) Экстракт главы — формула: «Здоровая нация — такая нация, в которой плебс аристократичен, а аристократия народолюбива». О ком это говорится? О Риме Гракхов или Риенци? Но что значат эти понятия сегодня? Где сегодня искать плебс и где аристократию? А, найдя (или полагая, что нашел), не увидать сразу же, что это не то, просто и совсем не то. Разве аристократия сегодня что-то иное, чем расфуфыренные куклы и бесполезные ископаемые на глянцевах обложках сомнительных журналов?! Или, к примеру, прыгающие и визжащие на сцене электрообезьяны, которых приглашают в Бэкингемский дворец и посвящают в рыцари, хотя они меньше горят желанием стать рыцарями, чем рыцари — ими! Можно сказать и так: аристократия (или то, что зовется ею) — это даже не плебс, а ниже и гаже всякого плебса. Какие-то принцы и принцессы, возникающие, когда их фотографируют, и исчезающие, когда их не фотографируют. Что до плебса, сейчас он зовется просто общество, о котором однажды было неплохо (а может, исчерпывающе) сказано, что оно придумано для того, чтобы те, кто о нем говорит, могли носить костюм и ежедневно бриться. Можно, конечно, возразить, что при жизни Фаге такого еще не было. Аристократы умели еще отличать себя от плебеев, а обезьян не приглашали еще во дворцы. Да, но речь вовсе не об этом. Речь о том, что было более чем странно — пусть даже под защитным знаком *мечты* — говорить о здоровой нации с оглядкой на древнеримские реалии и совсем уже древнего Аристотеля: в эпоху мировых войн и пандемического идиотизма.

Всё это, впрочем, нисколько не умаляет значительности книги. В конце концов, почему бы и не расписаться в собственном бессилии на такой лад. Фаге, понимавший, как никто, что быть аристократом дей-

ствительным) в эпоху Буvara и Пекюше можно не иначе, как сделав ставку на абсолютный проигрыш, чтобы хотя бы величием проигранного явить эпохе всю жалкость и комичность её выигрыша, оказался в тупике примирения. Примирять приходилось де Местра с Гамбеттой: при условии, что первый перестал бы видеть в последнем лакея, а последний видел бы в первом героя. Или в пословичной корректировке: лакей увидит в герое героя, если герой не увидит в лакее лакея. Такое возможно, скорее всего, в том же месте, где мать растерзанного псами ребенка (у Достоевского) обнимает и прощает его мучителя. На деле пословица о герое и лакее решается гораздо проще и экономнее: путем упразднения одного из двоих, а конкретнее, героя: за неупраздняемостью лакея. Если для Гегеля объяснение каза лежит не в герое, а в лакее (Гегель: «Для лакея нет героя; но не потому, что последний не герой, а потому, что тот — лакей»), то для де Местра верно как раз обратное: дело не в лакее, который всегда лакей, а в герое, который не всегда герой. Но де Местр даже не исключение, а эрратический валун. Он не мечтает и не решает, а *представляет*: короля Сардинии, как дипломат, и разгневанного Духа Мира, как сам. Мечта (бессилие) Фаге — это поиск в месте, которого нет. Дело вовсе не в том, чтобы быть народолюбивым аристократом или плебеем с хорошими манерами, а в том, чтобы — до всяческих титулов и обозначений — быть на месте и ставить всё на место. Если работу сельского почтальона доверяют паралитику (сравнение Фаге), а получатели писем смиряются с этим, считая, что могло бы ведь быть гораздо хуже, то какое имеет значение, кто здесь народ, а кто аристократия. Книга «Культ некомпетентности» имеет темой как раз абсолютную аберрацию *уместности*, где никто не на месте и всё сдвинуто с мест. То, что книга выходит на русском языке, пусть с опозданием в пятнадцать, а может, и все девяносто лет, но всё же как

нельзя кстати, заслуживает самого пристального внимания. Компетентность в России всегда была дефицитом, а в России демократической и вообще стала чем-то до испугу неправдоподобным. Маловероятно, что книгу прочтут те, кто опознал бы себя в ней, — политики или интеллектуалы. Одни найдут её чересчур категоричной, другие чересчур мало утыканной перьями. Одним будет не хватать в ней осторожности, другим «научности». Но ведь кто-то и не пройдет мимо: если не сейчас, то когда-нибудь. Читатели имеют свою судьбу. А книги, вроде этой, — засмоленные фляги, брошенные в море с тонущего корабля.

Карен Свасьян,

написано в Базеле 25 апреля 2005 года

ISBN 5-94610-032-7



9 785946 100328

Редактор

К. Свасьян

Корректор

Н. Маркелова

Оформление, верстка:

А. Куцын

Лицензия ИД № 05043 от 09.06.2001
Печ. л. 11. Формат 60x88/16. Тираж 1500 экз.

Заказ № 876

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6